

Эрик
ФРОММ



ИСКУССТВО
ЛЮБИТЬ



Annotation

Одна из самых известных работ Эриха Фромма – «Искусство любить» – посвящена непростым психологическим аспектам возникновения и сохранения человеком такого, казалось бы, простого чувства, как любовь.

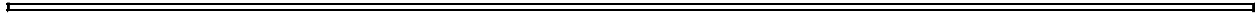
Действительно ли любовь – искусство? Если да, то она требует труда и знаний. Или это только приятное ощущение?..

Для большинства проблема любви – это прежде всего проблема того, как быть любимым, а не того, как любить самому...

- [Эрих Фромм](#)
 - [I. Любовь – искусство?](#)
 - [II. Теория любви](#)
 - [1. Любовь – разрешение проблемы человеческого существования](#)
 - [2. Любовь между родителями и детьми](#)
 - [3. Объекты любви](#)
 - [III. Любовь и ее разложение в современном западном обществе](#)
 - [IV. Практика любви](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)

- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)

- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)



Эрих Фромм
Искусство любить

I. Любовь – искусство?

Действительно ли любовь – искусство? Если да, то она требует труда и знаний. Или это только приятное ощущение, переживание которого – дело случая, состояние, в которое вы «впадаете»^[1], если вам повезет? В этой книжке мы исходим из первого допущения, в то время как большинство в наши дни, несомненно, принимает второе. Не потому, что эти люди не относятся к любви серьезно. Напротив, они жаждут любви, они смотрят бесчисленное множество фильмов о счастливой и несчастной любви и слушают сотни пошлых любовных песенок – однако вряд ли кто-нибудь из них догадывается, что в любви нужно чему-то еще и учиться. В основе такой установки лежит, как правило, одно или несколько предубеждений, поддерживающих ее. Для большинства проблема любви – это прежде всего проблема того, как *быть любимым*, а не того, как *любить самому*, то есть не проблема способности любить. Таким образом, вопрос для них в том, как сделать, чтобы их любили. К этой цели они стремятся по-разному. Один путь, особенно характерный для мужчин, состоит в том, чтобы преуспеть в жизни, добиться власти и богатства, насколько позволит социальное положение. Другой путь, предпочитаемый женщинами, – стараться быть привлекательной, следить за собой, хорошо одеваться и т. д. Есть и другие способы сделать себя привлекательными – ими пользуются и мужчины, и женщины: выработать у себя хорошие манеры, научиться поддерживать разговор, быть отзывчивыми, скромными и тактичными. Многие способы заставить любить себя – те же, которые используются, чтобы добиться успеха, завоевать друзей и авторитет. В действительности большинство людей нашей культуры под способностью внушать любовь понимают некую смесь обаяния и сексуальной привлекательности (sex-appeal).

Второе предубеждение, стоящее за установкой, что в любви нечему учиться, – это допущение, что проблема любви есть *проблема объекта*, а не *проблема способности*. Принято думать, что *любить* просто, а найти достойный объект для любви или для того, чтобы быть любимым, – вот это трудно. Корни этой установки – в развитии современного общества. Прежде всего сыграло роль резкое изменение отношения к выбору «объекта любви», происшедшее в XX столетии. В викторианскую эпоху, как и во многих культурах, приверженных традициям, любовь не была непосредственным личным переживанием, которое могло привести затем к

браку. Напротив, браки заключались по договору – или при посредничестве каких-либо почтенных семейств либо брачного маклера, или без посредников. Они заключались из соображений, социальных по своей природе. Что же касается любви, то предполагалось, что она появится и будет крепнуть после заключения брака. Однако за время жизни нескольких последних поколений в западном мире почти окончательно восторжествовала концепция романтической любви. В Соединенных Штатах хотя и сохраняется в какой-то мере представление о браке как о договоре, в то же время большинство людей ищет романтической любви – личного переживания, которое должно привести затем к браку. Благодаря этой концепции свободы в любви, вероятно, и возвысилось значение *объекта* в противоположность значению функции.

Тесно связана с этим фактором и другая характерная особенность современной культуры. Вся наша культура основана на страсти к приобретению, на идее взаимовыгодного обмена. Счастье для современного человека в том, чтобы с трепетом созерцать витрины магазинов и покупать все, что позволяют средства; за наличные или в кредит. Он (или она) так же смотрит и на людей. Привлекательная девушка для мужчины или привлекательный мужчина для женщины – вещь, которую они хотят заполучить. «Привлекательный» обычно означает изысканный набор приятных качеств, пользующихся большим спросом на рынке личностей. Что именно делает человека привлекательным как физически, так и душевно, – зависит от требований моды. В 20-е годы привлекательной считалась пьющая и курящая девушка, физически крепкая и чувственная. Сейчас в моде хозяйственные и скромные. В конце XIX и начале нашего века мужчина должен был быть напористым и честолюбивым; сейчас, чтобы представлять привлекательный «набор», он должен быть общительным и терпимым. Влюбленность имеет смысл обычно лишь по отношению к такому человеческому товару, который нам «по карману», на который мы можем обменять себя. Я стремлюсь вступить в сделку; объект должен быть подходящим с точки зрения его общественной ценности и в то же время должен хотеть меня, учитывая мои явные и скрытые достоинства и возможности. Итак, влюбляются друг в друга тогда, когда каждый из двоих чувствует, что нашел наилучший из имеющихся на рынке объектов с учетом своей собственной обменной ценности. Часто, как и при настоящей покупке, в сделке играют существенную роль скрытые возможности и качества, которые могут проявиться впоследствии. Когда речь идет о культуре, ориентированной на рыночные отношения, в которой материальное преуспевание играет

основную роль, нет причин удивляться, что и любовные отношения строятся по той же схеме обмена, господствующей на рынке товаров и рабочей силы.

Третье заблуждение, приводящее к допущению, что в любви нечему учиться, – это смешение кратковременного «начинательного» переживания, обозначаемого словом «влюбиться», и непрерывно длящегося состояния, обозначаемого словом «любить»^[2]. Когда двое, которые были чужими друг другу – как мы все, – вдруг преодолевают барьер и чувствуют, что они внезапно стали близкими и что они теперь одно, этот момент соединения – одно из самых волнующих, самых радостных переживаний в жизни. Это особенно прекрасно и удивительно для людей, которые были до этого замкнутыми в себе, одинокими и не знали любви. Это чудо внезапной близости часто облегчается, если оно вызывается или сопровождается половым влечением и физической близостью. Однако такая любовь по самой своей природе непрочна. По мере того как двое лучше узнают друг друга, их близость постепенно перестает быть чудом, и в конце концов их столкновения, разочарования и скука убьют все, что еще останется от первоначального восторга. Однако вначале они ничего этого не осознают: на самом деле они принимают силу безрассудной страсти за доказательство силы своей любви, в то время как это свидетельствует лишь о том, насколько одиноки они были прежде.

Эта установка – что нет ничего проще, чем любить, – представляет собой наиболее широко распространенную концепцию любви, несмотря на сокрушительную очевидность обратного. Едва ли найдется какой-нибудь другой род деятельности, такое начинание, за которое принимаются с такими ослепительными надеждами и которое при этом столь же неуклонно проваливается. Если бы речь шла о любой другой деятельности, люди стремились бы во что бы то ни стало выяснить причины неудачи и узнать, как можно их избежать, или просто перестали бы этим заниматься. Поскольку в случае любви последнее невозможно, здесь остается только один приемлемый способ избежать неудачи – исследовать ее причины и заняться изучением смысла любви.

Первый шаг в этом направлении – уяснить себе, что любовь – это *искусство*, подобно тому как жизнь есть искусство; если мы хотим научиться любить, мы должны поступать так же, как если бы мы хотели овладеть любым другим искусством – например, музыкой, живописью, плотницким делом, медициной или инженерным искусством.

Какие этапы нужно пройти при овладении искусством?

Процесс овладения искусством можно разделить на две части:

постижение теории и закрепление практикой. Если я захочу научиться врачебному искусству, я должен сначала изучить человеческое тело и различные болезни. Получив эти теоретические знания, я никоим образом еще не могу считать себя компетентным в медицине. Я овладею этим искусством только после основательной практики, только тогда, когда в какой-то момент мои теоретические знания и практические навыки соединятся и породят интуицию, которая и составляет истинную сущность понимания любого искусства. Но кроме изучения теории и практики есть еще и третий фактор: овладение искусством должно быть делом совершенно исключительной важности; не должно быть на свете ничего важнее этого искусства. Это относится и к музыке, и к медицине, и к плотницкому делу, и – к любви. И может быть, именно в этом ответ на вопрос, почему в нашей культуре люди так редко пытаются постичь это искусство, хотя явным образом терпят неудачи: как ни глубоко и как ни страстно жаждем мы любви, едва ли не все остальное мы считаем более важным делом: успех, престиж, деньги, власть – почти всю нашу энергию мы тратим на то, чтобы научиться достигать этих целей, и у нас почти не остается ресурсов на овладение искусством любить.

Как же можно считать достойным познания лишь то, что может принести деньги или престиж, а любовь, которая приносит пользу «только» душе и бесполезна в современном смысле этого слова, считать роскошью, на которую мы не вправе тратить много сил? Тем не менее это так, и в дальнейшем я буду придерживаться упомянутого выше различия: сначала будет излагаться теория любви, что займет большую часть книги, затем мы кратко остановимся на практике любви – немного потому, что об этом, как и о любой практике, *сказать* можно лишь немного.

II. Теория любви

1. Любовь – разрешение проблемы человеческого существования

Всякая теория любви должна начинаться с теории человека, человеческого существования. Хотя и у животных мы можем обнаружить любовь или, скорее, нечто на нее похожее, однако привязанности животных относятся главным образом к области инстинктов; но только остаточные обнаружения этих инстинктов можно наблюдать у человека. Для существования человека особенно важен тот факт, что он ушел из животного царства, из мира инстинктивной адаптации, перешел границу природы – хотя он при этом никогда ее не покидает; он – часть природы, но все же, однажды оторвавшись от нее, он уже не может к ней вернуться; если бы он, изгнанный однажды из рая – состояния первоначального единства с природой, – попытался вернуться, ему преградили бы путь херувимы с огненными мечами. Теперь можно идти только вперед, развивая свой ум, отыскивая новую гармонию – человеческую – взамен безвозвратно утерянной гармонии наших «дочеловеческих» предков. Когда человек рождается – не важно, идет ли речь обо всем человеческом роде или об индивидуе, – он изгоняется из среды, столь же определенной, сколь конкретны инстинкты, и попадает в среду неопределенную, ненадежную, открытую. Он уверен только в прошлом, а что касается будущего, то он может быть убежден только в том, что рано или поздно он умрет.

Человек наделен разумом: он есть *жизнь, осознающая себя*; он осознает себя и себе подобных, свое прошлое и свое возможное будущее. Это осознание себя как отдельной сущности, осознание краткости своего жизненного пути, осознание того, что он независимо от своей воли родился и против своей воли умрет; того, что либо он умрет раньше тех, кого он любит, либо они умрут раньше него; осознание своего одиночества и отчужденности, своей беспомощности перед силами природы и общества – все это превращает его одинокое, обособленное существование в настоящую каторгу. И если он не сможет освободиться от этой каторги, выйти на волю, не сможет объединиться каким-то образом с людьми и внешним миром, он сойдет с ума.

Переживание отчужденности порождает тревогу, и в конечном счете тревога всегда происходит от этого. Быть отчужденным – значит быть отрезанным от мира, не имея возможности воспользоваться своими человеческими силами. Поэтому быть отчужденным – значит быть

беспомощным, неспособным активно воздействовать на окружающий мир, на вещи и людей; это значит, что мир может посягнуть на мои права, а я не смогу защититься. Таким образом, отчужденность – источник внутреннего беспокойства. Кроме того, это порождает стыд и чувство вины. Такое переживание вины и стыда в отчуждении описано в библейском рассказе об Адаме и Еве. Когда Адам и Ева вкусили от «древа познания добра и зла», когда они ослушались (когда невозможно ослушаться, нет ни добра, ни зла), когда они стали людьми, освободившись от первоначального животного единства с природой, то есть когда они родились как люди, «открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги» (Быт. 3:7), и им стало стыдно. Значит ли это, что в старой как мир легенде заключена ханжеская мораль XIX века, и главное, о чем в ней рассказывается, – это смущение Адама и Евы из-за того, что были видны их гениталии? Едва ли это так. И понимая эту легенду в викторианском духе, мы упускаем главное. А основное здесь, видимо, в том, что, осознав себя и друг друга, мужчина и женщина осознали свою обособленность и различие, обусловленное тем, что они принадлежат к разным полам. Но, признав свою обособленность и различие, они остались чужими, потому что еще не научились любить друг друга (что особенно ясно видно из того, что Адам оправдывается, обвиняя Еву, вместо того чтобы попытаться ее защитить).

Осознание человеческой разобщенности без воссоединения любовью – вот источник стыда. И здесь же исток чувства вины и тревоги.

Таким образом, самая глубокая потребность человека – это потребность преодолеть свою отчужденность, освободиться из плена одиночества. Абсолютная невозможность достичь этой цели ведет к безумию, потому что смятение полного одиночества можно преодолеть, лишь совсем уйдя от внешнего мира, так что чувство одиночества пройдет постольку, поскольку исчезнет сам этот внешний мир, от которого был отчужден индивид.

Человек любой эпохи и любой культуры сталкивается с одним и тем же вопросом: как преодолеть одиночество, как достичь единения, как выйти за пределы своей отдельной жизни и обрести воссоединение. Вопрос этот – один и тот же для первобытного пещерного человека, для кочевника, стерегущего свои стада, для египетского крестьянина, для финикийского купца, для римского солдата, для средневекового монаха, для японского самурая, для современного чиновника или рабочего. Вопрос один и тот же, потому что корни его одни и те же – положение человека, условия его существования. Но отвечают на этот вопрос по-разному. Ответом может быть культ животных, человеческие жертвоприношения,

военные завоевания, роскошь и вседозволенность, аскетизм и самозабвенный труд, художественное творчество, любовь к Богу, любовь к Человеку. Хотя существует множество ответов – их перечень есть не что иное, как человеческая история, – неверно было бы думать, что это множество необозримо. Напротив, как только мы отвлечемся от несущественных различий, мы обнаружим, что существует лишь ограниченное число ответов, которые когда-либо давались и которые только и могли возникать у людей, принадлежащих к различным культурам. История религии и философии есть история этих ответов, во всем их разнообразии и во всей их ограниченности.

Ответ в большой мере зависит от степени самосознания индивида. У младенца осознание своего «Я» развито еще крайне слабо; он еще ощущает себя неотделимым от матери, и пока мать с ним, он не чувствует отчуждения. Чувство одиночества у него снимается физическим присутствием матери, ее груди, ее кожи. И только когда ребенок достигает такой степени обособленности и индивидуальности, что физического присутствия матери для него уже недостаточно, – тогда рождается потребность преодолеть отчужденность как-то иначе.

Точно так же и весь человеческий род в младенческую пору своего развития еще ощущает себя единым с природой. Земля, животные, растения еще составляют мир человека. Он отождествляет себя с животными, и это выражается в ношении масок животных, в поклонении тотему-животному или богам в образе животных. Но чем больше человек освобождается от этих первичных уз, тем больше он обособляется от мира природы, тем сильнее становится потребность найти новые способы избежать одиночества.

Один из путей достижения этой цели – всевозможные *оргиастические состояния*, которые могут принимать форму аутогенного экстаза, иногда с помощью наркотических средств. Многие ритуалы первобытных племен дают яркую картину такого решения. В момент экзальтации внешний мир исчезает, и вместе с ним исчезает чувство отчужденности. Поскольку этот ритуал совершается сообща, возникает переживание слиянности с группой, что делает это решение еще более эффективным. Близко связано и часто сочетается с оргиастическим решением сексуальное переживание. Половой оргазм способен вызывать состояние, подобное экстазу или действию некоторых наркотических средств. Ритуал групповых сексуальных оргий был частью многих первобытных обрядов. По-видимому, после оргиастического переживания человек некоторое время не страдает так сильно от своей отчужденности. Постепенно напряжение и беспокойство

усиливаются, и тогда его снова ослабляют повторением ритуальных действий.

Когда подобные оргиастические состояния обычны для всех членов племени, они не вызывают чувства вины или беспокойства. Поступать так считается правильным и даже добродетельным, потому что так делают все, и это одобряется и предписывается знахарями и жрецами; поэтому нет причин для чувства вины или стыда. Совсем иначе обстоит дело, когда такое решение избирает индивид, принадлежащий к культуре, где это не принято. В «не-оргиастической» культуре это принимает формы алкоголизма и наркомании. В противоположность тем, чье решение социально запрограммировано, такие индивиды страдают от чувства вины и угрызений совести. Стараясь избежать отчуждения в отрешенности опьянения, индивид ощущает одиночество еще сильнее, когда оргиастическое переживание проходит, и он вынужден вновь прибегать к этим средствам – все чаще и интенсивнее. Лишь немногим отличается от этого сексуально-оргиастическое решение. В какой-то степени это естественный и нормальный способ преодоления отчужденности, частично разрешающий проблемы изоляции. Для немногих, особенно для тех, кто не знает иных способов облегчить свое одиночество, стремление к половому оргазму выполняет почти такую же функцию, как алкоголизм и наркомания. Это становится безнадежной попыткой избавиться от беспокойства, порожденного отчуждением, и ведет лишь к постоянному возрастанию чувства отчуждения, поскольку половой акт без любви не может перекинуть мост через пропасть между людьми, разве что на одно мгновение.

Есть три характерные черты, общие для всех форм оргиастического соединения: оно отличается силой и даже страстностью; оно охватывает всего человека – его душу и тело; оно преходяще и периодически повторяется. Совсем иначе обстоит дело для другой формы соединения, которая встречалась и встречается намного чаще: соединения, основанного на *подчинении группе*, ее обычаям, образу жизни и верованиям. Эта форма также претерпела значительные изменения в ходе своего развития.

В первобытном обществе группа невелика; она объединяет родственников, живущих на одной территории. С развитием культуры группа увеличивается; она объединяет уже граждан полиса, граждан государства, членов церкви. Самый бедный римлянин гордился тем, что мог сказать: «Я – римский гражданин»; Рим и империя были его семьей, его домом, его миром. Точно так же и в современном западном обществе соединение с группой – преобладающий способ преодоления

отчужденности. Это соединение, где индивидуальное «Я» в значительной степени исчезает и где основная цель – принадлежать к толпе. Если я похож на любого другого, если у меня нет мыслей и чувств, которые отличали бы меня от других, если в привычках, в одежде, в мыслях я следую общепринятому образцу, – я в безопасности; я спасен от ужасающего переживания одиночества. Диктатура добивается этого подчинения угрозами и террором, демократия – внушением и пропагандой. Конечно, между этими системами имеется существенное различие. В демократиях неподчинение возможно и отнюдь не полностью отсутствует; при тоталитарной системе лишь немногие герои и мученики способны отказаться от повиновения. Но, несмотря на это различие, и в демократических странах подчинение, безусловно, преобладает. Дело в том, что потребность в соединении *должна* быть удовлетворена, и если нет другого, лучшего способа, тогда преобладающим становится способ соединения путем подчинения толпе. И только осознав, насколько глубока потребность не быть отчужденным, можно постичь всю силу страха быть не таким, как все, страха хоть на шаг отойти от толпы. Иногда этот страх неподчинения рационализируется как страх перед реальными опасностями, которые могут угрожать непокорному. Но на самом деле люди гораздо сильнее *хотят* подчиняться, нежели их к этому *вынуждают*, – по крайней мере в западных демократиях. Большинство людей даже не осознают этой потребности подчиняться. Они свято уверены в том, что следуют своим собственным вкусам и склонностям, что они индивидуалисты, что они пришли к своим мнениям в результате собственных размышлений, а то, что их мнения совпадают с мнением большинства, – чистая случайность. Общее единодушие служит доказательством правильности «их» взглядов. А если все же существует потребность в некоторой степени ощутить себя индивидуальностью, она удовлетворяется различием в мелочах: надпись на сумке или на свитере, именная табличка банковского кассира, принадлежность к демократической, а не к республиканской партии, к обществу «Лосей», а не «Шрайнеров»^[3] – вот в чем выражаются индивидуальные различия. Рекламная формула, гласящая: «Не такое, как у других», сама по себе свидетельствует о жгучей потребности отличаться, тогда как на самом деле нет никаких отличий.

Эта возрастающая тенденция к устранению различий тесно связана с концепцией равенства в том виде, в каком она развилась в передовых индустриальных странах. В религиозном контексте равенство означало, что все мы – дети Бога, что у всех нас одна и та же божественно-человеческая сущность, что все мы – одно. Это свидетельствовало также о том, что сами

различия между индивидами заслуживают уважения, что если верно, что все мы одно, то верно также и то, что каждый из нас – единственная сущность и сам по себе – вселенная. Такое убеждение в единственности индивида выражено, например, в изречении из Талмуда, в котором спасший одну жизнь считается спасшим целый мир, а погубивший чью-то жизнь – погубившим целый мир. И философы западного Просвещения также понимали равенство как условие развития индивидуальности. Это означало (как яснее всего сформулировал Кант), что ни один человек не должен служить средством для достижения целей другого, что все люди равны, поскольку все они суть цели, и только цели, и никоим образом не средства друг для друга. Следуя идеям Просвещения, социалистические мыслители различных школ определяли равенство как уничтожение эксплуатации человека человеком, независимо от того, жестокая эта эксплуатация или «гуманная».

В современном капиталистическом обществе смысл понятия «равенство» претерпел изменения. Под «равенством» понимается равенство автоматов, равенство людей, потерявших свою индивидуальность. Равенство теперь означает скорее «единообразие», нежели «единство». Это – единообразие людей, которые выполняют одинаковую работу, одинаково развлекаются, читают одни и те же газеты, одинаково чувствуют и одинаково думают. С этой точки зрения к таким нашим достижениям, как, скажем, равенство женщин, превозносимое как признак прогресса, следует отнестись с известным сомнением. Нечего и говорить, что я не против равенства женщин; но положительные стороны этого стремления к равенству не должны вводить нас в заблуждение. Это часть общей тенденции к устранению различий. Равенство покупается именно этой ценой: женщины равны с мужчинами, поскольку они больше не отличаются от них. Положение, выдвинутое философией Просвещения: «Душа не имеет пола», получило применение повсюду. Противоположность полов исчезает, а вместе с ней и эротическая любовь, основанная на этой противоположности. Мужчина и женщина стали *одинаковыми*, вместо того чтобы стать *равными* как противоположные полюсы. Современное общество проповедует этот идеал равенства без индивидуальности, потому что нуждается в человеческих «атомах», неотличимых друг от друга, чтобы заставить их функционировать всех в совокупности как единый механизм, без сбоев и без трения; чтобы все подчинялись одним и тем же приказаниям, но при этом каждый был уверен, что руководствуется своими собственными желаниями. Как современное массовое производство требует стандартизации товаров, так и

общественное развитие требует стандартизации человека, и эта унификация называется «равенством».

Единение через подчинение не носит бурного, неистового характера; оно достигается спокойно, в силу заведенного порядка, и именно поэтому его часто бывает недостаточно, чтобы устранить порожденное отчуждением беспокойство. Распространение в современном западном обществе алкоголизма, наркомании, навязчивой сексуальности, самоубийств – признак того, что подчинение толпе недостаточно эффективно. Кроме того, такое решение затрагивает в основном психику, а не тело, и это еще одна причина, в силу которой она проигрывает в сравнении с оргиастическими решениями. У подчинения толпе есть только одно преимущество: оно постоянно и не носит судорожного характера. Уже в возрасте трех-четырёх лет индивид начинает следовать схеме подчинения и затем никогда не теряет связи с толпой. И даже его похороны, которые он сам представляет себе как свое последнее важное общественное дело, проходят в строгом соответствии с принятыми стандартами.

Наряду с подчинением как способом облегчить порожденное отчуждением беспокойство следует рассмотреть еще один характерный для современной жизни фактор: ту роль, которую играют в ней однообразная, привычная работа и однообразные, привычные развлечения. Человек становится «отсиживателем с девяти до пяти»^[4], частью рабочей силы или частью бюрократической силы клерков и менеджеров. Ему не нужно проявлять инициативу, его задачи предопределены организацией работы; даже между теми, кто находится на верхней и нижней ступеньках служебной лестницы, существует лишь незначительная разница. Все они выполняют задания, предопределенные структурой организации в целом, с заранее конкретной скоростью и заранее обозначенным способом. Предопределены даже чувства: жизнерадостность, терпеливость, уверенность в себе, честолюбие, способность ладить со всеми без трений. Удовольствия также следуют заведенному порядку, хотя и не столь неукоснительно. Книжки навязываются читательскими клубами, фильмы – владельцами киностудий и кинотеатров и ими же оплачиваемой рекламой; остальное также стандартизировано: воскресная прогулка в автомобиле, сидение у телевизора, карты, вечеринки. От рождения до смерти, от понедельника до понедельника, с утра до вечера – все действия запрограммированы и производятся в соответствии с заведенным порядком. Как же человеку, попавшему в эти сети повседневной рутины, не забыть, что он человек, неповторимая индивидуальность, тот, кому дарована только эта, единственная возможность жить, жить со своими

надеждами и разочарованиями, со своими печальями и страхами, со своей страстной потребностью в любви и ужасом перед пустотой и отчужденностью?

Третий способ достичь соединения – *творческая деятельность*, деятельность художника или ремесленника. В любом виде творческой деятельности человек объединяется с материалом, который представляет окружающий мир. Будь это плотник, сколачивающий стол, или ювелир, делающий украшение, будь это крестьянин, растящий хлеб, или живописец, пишущий картину, – во всех видах творчества работник и предмет его труда объединяются; человек достигает соединения с миром в процессе творчества. Это, однако, касается только плодотворного труда – труда, при котором я сам планирую, производжу и вижу результаты своей работы. В современном трудовом процессе у служащего или у рабочего на конвейере мало что остается от этой объединяющей функции труда, работник здесь становится всего лишь придатком машины бюрократической организации. Он перестал быть самим собой – и поэтому для него не существует способов единения с миром, кроме подчинения.

Единство, достигнутое в плодотворном труде, не является межличностным; единство, возникшее в оргиастическом слиянии, преходяще; единство за счет подчинения – лишь псевдоединство. Таким образом, все это лишь частичные решения проблемы человеческого существования. Полное решение проблемы – в достижении межличностного единства, в слиянии с другим человеком, *в любви*.

Это страстное стремление к единству с другим человеком сильнее всех других человеческих стремлений. Это самая главная страсть, это сила, которая скрепляет в единое целое семью, клан, общество, весь человеческий род. Неудача в достижении такого единства влечет к сумасшествию или уничтожению, будь то самоуничтожение или уничтожение окружающих. Без любви человечество не могло бы просуществовать ни дня. Однако, назвав достижение межличностного единства «любовью», мы сталкиваемся с серьезным затруднением. Слияние может достигаться разными путями, и различия между разными формами любви не менее важны, чем сходство. Можно ли все эти формы назвать «любовью»? Или лучше оставить это слово лишь для какого-то особого вида соединения, которое считается идеалом добродетели во всех великих гуманистических религиях и философских системах в течение последних четырех тысячелетий истории Запада и Востока?

Как и всегда, когда речь идет о смысле слов, ответ на этот вопрос можно выбрать произвольно. Важно только знать, какое соединение мы

имеем в виду, говоря о любви, – зрелое решение проблемы существования или те незрелые ее формы, которые можно назвать *симбиотической связью*? В последующем изложении я буду называть любовью только первое. Однако сначала рассмотрим второе.

Биологический прообраз *симбиотической связи* — связь между матерью и зародышем в ее утробе. Их двое, и все же это – одно целое. Они живут «вместе» (греч. – «sym – biosis»), они нуждаются друг в друге. Зародыш – часть матери, он получает от нее все необходимое; мать – его мир; она его питает, защищает, но и ее собственная жизнь стимулируется им. В психической симбиотической связи тела независимы друг от друга, но психологически налицо связь того же типа.

Пассивной формой симбиотической связи является подчинение, или, выражаясь медицинским языком, – *мазохизм*. Мазохистская личность избавляется от невыносимого чувства одиночества и отчуждения, становясь неотъемлемой частью другого человека, который направляет его, руководит им, защищает его; частью того, который становится для него как бы его жизнью, его воздухом. Сила того, кому он покорился, будь это человек или божество, невероятно преувеличивается; он – все, а я – ничто, я значу что-то лишь постольку, поскольку я – его часть. И, будучи его частью, я тем самым становлюсь причастен к его величию, его силе, его уверенности. Мазохистская личность никогда не принимает никаких решений, никогда не рискует; она никогда не остается в одиночестве, но и никогда не бывает независимой; ей не хватает целостности; этот человек еще не вполне родился. В религиозном контексте предмет поклонения называется идолом, но и в светском контексте механизм взаимоотношений, основанных на мазохистской любви, по сути своей тот же самый – идолопоклонство. Мазохистское отношение может сочетаться с физическим половым влечением; в этом случае человек покоряется не только душой, но и телом. Бывает мазохистская покорность судьбе, болезни, поп-музыке, оргиастическим состояниям, вызванным наркотиками или гипнозом, – и во всех этих случаях личность отрекается от своей целостности, становится орудием кого-то или чего-то внешнего по отношению к себе, ей не нужно решать проблему жизни посредством созидательной деятельности.

Активная форма симбиотической связи – господство, или, если пользоваться соотнесенным с мазохизмом психологическим термином, – *садизм*. Садистская личность стремится освободиться из плена и избежать одиночества, делая другую личность своей частью. Она растет в собственных глазах и поддерживает себя тем, что включает в себя как часть

другую личность, которая ее боготворит.

Садистская личность так же зависима от того, кто ей покоряется, как этот последний зависим от нее; ни один из них не может жить без другого. Различие лишь в том, что садистская личность распоряжается, эксплуатирует, унижает, причиняет боль, а мазохистская – подчиняется распоряжениям, терпит эксплуатацию, унижение и боль. В реальном смысле это значительное различие; но в смысле более глубоком, эмоциональном, здесь больше общего, нежели различного: и то, и другое есть слияние без целостности. Если мы это поймем, то не удивимся, обнаружив, что чаще всего человек ведет себя то как садистская, то как мазохистская личность, – обычно по отношению к разным объектам. Гитлер вел себя преимущественно по-садистски по отношению к народу, но по-мазохистски по отношению к судьбе, к истории, к «высшей власти» природы. И его конец – самоубийство среди всеобщего разрушения – так же характерен для него, как и его мечты о мировом господстве^[5].

В противоположность симбиотической связи зрелая *любовь есть связь, предполагающая сохранение целостности личности*, ее индивидуальности. *Любовь – действенная сила в человеке*, сила, разрушающая преграду между человеком и его собратьями, сила, которая объединяет его с другими; любовь помогает человеку преодолеть чувство одиночества и отчуждения и вместе с тем позволяет ему оставаться самим собой, сохранить свою целостность. Парадокс любви в том, что два существа составляют одно целое и все же остаются двумя существами.

Признав любовь деятельностью, мы сталкиваемся, однако, с определенной трудностью, которая состоит в неоднозначности слова «деятельность». Под «деятельностью» в современном употреблении слова обычно понимается действие, предполагающее некоторую затрату энергии и влекущее за собой изменение существующего положения вещей. Так, деятельным считается человек, занимающийся бизнесом, изучающий медицину, работающий на конвейере, изготавливающий столы или занимающийся спортом. Все эти виды активности имеют между собой то общее, что все они направлены на достижение некоторой внешней цели. Что же касается *мотивов* деятельности, то они не принимаются во внимание. Вот, например, человек, который взялся за нескончаемую работу, движимый чувством одиночества и неуверенности; или другой – движимый честолюбием или жадностью. В любом из этих случаев человек – раб своей страсти, и его активность^[6] есть на самом деле «пассивность», потому что он гоним этой страстью. Его роль «страдательная», а не «действительная».

С другой стороны, человек, неподвижно сидящий и созерцающий безо всякой видимой цели, кроме разве что переживания своего единства с миром, считается «пассивным», потому что он ничего не «делает». Но на самом деле такое состояние сосредоточенной медитации – самая высшая форма деятельности из всех, какие возможны: деятельность души, возможная только при условии внутренней свободы и независимости. Одно понятие деятельности – принятое в наше время – означает затрату энергии ради достижения внешних целей; другое понятие деятельности означает работу внутренних сил человека, независимо от того, изменится ли что-нибудь от этого во внешнем мире. Определение деятельности в этом последнем смысле наиболее четко сформулировано Спинозой. Он проводит различие между «активными» и «пассивными» воздействиями – между «действиями» и «страстями». Производя активное воздействие – «действие», человек свободен, он хозяин своего воздействия; производя пассивное воздействие, человек движим какими-то внешними мотивами и является их объектом, не осознавая их. Таким образом, Спиноза приходит к выводу, что способность и добродетель – одно и то же^[7]. Зависть, ревность, честолюбие, всякого рода жадность – это страсти; любовь же – всегда действие, проявление человеческой силы, что возможно только в условиях свободы и никогда – вследствие принуждения.

Любовь – это деятельность, активность, а не пассивный эффект; это «пребывание» в некотором состоянии, а не «впадение» в него^[8]. Наиболее общее определение активного характера любви можно сформулировать так: любить – значит прежде всего *давать*, а не получать.

Что значит «давать»? Как ни прост на первый взгляд этот вопрос, в действительности он таит в себе множество неясностей и сложностей. Наиболее распространено ложное (неверное) понимание слова «давать» как «отдавать» что-то безвозвратно, чего-то лишаться, чем-то «жертвовать». Для людей, не поднявшихся в своем развитии выше установки на получение, использование, накопление, «давать» означает именно это. Человек с «рыночной» психологией охотно отдает, но в обмен непременно хочет что-то получить; отдать, ничего не получив, – значит для него быть обманутым^[9]. Люди с «неплодотворной» установкой, отдавая, чувствуют себя обедневшими. Поэтому такие люди по большей части отказываются давать. Те, кто считает, что «давать» – значит «жертвовать», подчас возводят это в добродетель. Им кажется, что *нужно* давать именно потому, что это причиняет страдание; добродетельность этого акта для них в том и состоит, что они идут на жертву. Моральная норма «лучше давать, чем

получать» означает для них «лучше терпеть лишение, чем испытывать радость».

Для людей с установкой на плодотворную деятельность «давать» означает совсем другое. Давать – это наивысшее проявление могущества. Когда я отдаю, я ощущаю свою силу, свою власть, свое богатство. И это переживание моей огромной жизненной силы и моего могущества наполняет меня радостью. Меня переполняет ощущение жизни, ощущение силы, переливающейся через края, и от этого мне радостно^[10]. Отдавать много радостнее, чем получать, – не потому, что это лишение, а потому, что, отдавая, я ощущаю, что живу.

В справедливости этого принципа нетрудно убедиться на конкретных примерах. Самый простой пример дает сфера половых отношений. Наивысшее проявление мужской половой функции состоит в том, чтобы отдавать; мужчина отдает женщине себя, свой половой орган. В момент оргазма он отдает ей свое семя. Он не может не отдавать, если он нормальный мужчина; если он не может отдавать, он импотент. Для женщины этот акт означает то же самое, хотя здесь дело обстоит несколько сложнее. Она тоже отдается; она открывает доступ к центру своего женского естества; получая, она отдает; если она не может отдавать, а способна только получать, она фригидна. Потом этот акт «отдавания» повторяется в ней уже не в ее любовной, а в материнской ипостаси. Она отдает себя растущему внутри нее зародышу, отдает младенцу свое молоко и тепло своего тела. Не отдавать было бы для нее страданием.

В материальной сфере «отдавать» – значит «быть богатым». Не тот богат, кто много *имеет*, а тот, кто много *дает*. Скряга, ревниво оберегающий свое богатство от каких бы то ни было потерь, на самом деле с психологической точки зрения – нищий, как бы велико ни было его состояние. Богат тот, кто способен отдавать. Он чувствует, что способен подарить себя другим. И только тот, у кого ничего нет, кроме самых мизерных средств к существованию, лишен радости отдавать материальное. Но повседневный опыт показывает, что минимум самых необходимых средств к существованию в понимании того или иного человека в не меньшей степени зависит от его характера, чем от реальных размеров его имущества. Хорошо известно, что бедняки отдают охотнее, чем богачи. Тем не менее бедность может дойти до такой степени, что отдавать будет уже нечего; тогда начинается разложение личности – не только из-за страданий, непосредственно причиняемых нищетой, но и из-за того, что бедняк лишается радости отдавать.

Но самое важное – отдавать не материальные, а специфически

человеческие ценности. Что же отдает один человек другому? Он делится с ним самим собой, своей жизнью, самым дорогим, что у него есть. Это отнюдь не значит, что он обязательно должен жертвовать жизнью ради другого, – просто он делится тем, что есть в нем живого: своей радостью, своими интересами, своими мыслями, знаниями, своим настроением, своей печалью – всеми проявлениями своей жизни. Итак, делясь своей жизнью, человек обогащает другого, увеличивая его жизненную силу и тем самым также и свою. Он отдает не затем, чтобы получить: отдавать – само по себе для него радостно. Но, отдавая, человек непременно привносит что-то в жизнь другого, и это «что-то» так или иначе возвращается к нему; поэтому, отдавая, он все-таки получает: получает то, что к нему возвращается. Отдавая, мы побуждаем другого, в свою очередь, тоже отдавать, и, таким образом, мы оба разделяем эту радость, которую мы сами вызвали к жизни. Когда двое отдают, нечто рождается, и тогда оба благодарны за новую жизнь, которая родилась для них обоих. Непосредственно по отношению к любви это значит, что любовь есть сила, порождающая любовь; импотенция – это неспособность порождать любовь. Эта мысль блестяще выражена Марксом: «Если считать человека человеком, а его отношение к миру – человеческим, то за любовь можно платить только любовью, за доверие – только доверием. Чтобы наслаждаться искусством, нужно быть соответственно воспитанным; чтобы оказывать влияние на других, нужно обладать способностью побуждать людей к действию, вести их за собой, оказывать им поддержку. В какие бы отношения с человеком и с природой вы ни вступали, они непременно должны быть определенным выражением вашей *реальной, индивидуальной жизни*, соответствующим объекту вашей воли. Если ваша любовь безответна, то есть если ваша любовь не порождает любовь; если, *проявляя свою любовь*, вы не добились ответа и не стали тоже любимы, – значит, ваша любовь неможна, значит, она не удалась»^[11]. Но «отдавать» означает «получать» не только в любви. Учитель учится у своих учеников, актера вдохновляет публика, психотерапевт излечивается благодаря своему пациенту – при условии, что они не рассматривают друг друга как *объекты*, а общаются искренне и плодотворно.

Излишне напоминать, что способность любить отдавая зависит от особенностей развития личности. Это предполагает, что личность должна выработать в себе преимущественную установку на плодотворную деятельность, преодолев зависимость, самолюбование, склонность к накопительству и к помыканию другими; человек должен поверить в собственные силы, должен отважиться полагаться на себя в достижении

целей. Чем менее развиты в человеке эти качества, тем больше он боится отдавать, а значит, боится любить.

Кроме того, что любить всегда значит отдавать, это всегда значит также *заботиться, нести ответственность, уважать и знать*. Это тоже проявления активного характера любви, важнейшие черты, присущие всем ее формам.

То, что любовь – всегда забота, наиболее очевидно проявляется в любви матери к ребенку. Ничто не убедит нас, что она его любит, если мы увидим, что она не заботится о своем младенце, небрежно относится к его кормлению и купанию, не стремится сделать так, чтобы ему было хорошо и удобно; и напротив, в любви заботливой матери мы никогда не усомнимся. И даже с любовью к животным и цветам дело обстоит так же. Если женщина говорит, что любит цветы, а мы увидим, что она забывает их поливать, то мы не поверим в ее «любовь». *Любовь есть деятельная озабоченность, заинтересованность в жизни и благополучии того, кого мы любим*. Где нет такой деятельной озабоченности, там нет и любви. Это свойство любви превосходно описано в книге Ионы. Бог повелел Ионе идти в Ниневию и предупредить ее жителей, что их ждет близкая гибель, если они не перестанут творить злодеяния. Иона не исполняет своей миссии, потому что боится, что люди раскаются в своих грехах, и Бог смиростивится и простит их. Это человек, привыкший подчиняться, но не умеющий любить. Пытаясь избежать своей миссии, он по воле Бога в наказание за свою черствость попадает во чрево кита – символ плена и одиночества. Бог освобождает его, и Иона покорно идет в Ниневию. Он проповедует жителям Ниневии то, что повелел ему Бог. И вот случается то, чего он больше всего боялся: люди раскаиваются в своих грехах. Бог прощает их и отменяет свое решение разрушить их город. Иона разочарован и рассержен. Он хотел «справедливого суда», а не милосердия. Иона устраивается в тени дерева, которое выросло по воле Бога, чтобы заслонить Иону от палящих лучей солнца, но вот Бог делает так, что дерево засыхает, и опечаленный Иона ропщет на Бога. Бог же отвечает: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» (Иона. 4: 10–11). Ответ этот надо понимать символически. Бог объясняет Ионе, что сущность любви заключается в том, чтобы «потрудиться», чтобы «что-то» вырастить, что любовь и труд неразделимы. Любят то, над чем трудятся, и трудятся над тем, что любят.

Тесно связан с заботой еще один аспект любви – *ответственность*.

В наше время ответственность часто отождествляется с обязанностью, с чем-то навязанным извне. Но ответственность в настоящем смысле этого слова – полностью добровольный акт; это мой ответ на нужды другого, выраженные или невыраженные. Быть «ответственным» – значит быть способным и готовым «ответить». Иона не почувствовал ответственности за жителей Ниневии. Он мог бы, подобно Каину, спросить: «Разве я сторож брату моему?» Тот, кто любит, отвечает. Жизнь его брата касается не только его брата, но и его самого. Он чувствует себя так же ответственным за своих братьев, как за себя. В случае матери и младенца эта ответственность относится прежде всего к заботе, к физическим потребностям. В любви взрослых это относится прежде всего к душевным нуждам другого.

Ответственность могла бы легко опуститься до подавления и до отношения к человеку как к собственности, если бы не третья составляющая любви – *уважение*. Уважение – это не страх и не благоговение; слово «уважение» происходит от польского *uwazac* – быть внимательным, наблюдать^[12] – и, следовательно, обозначает способность видеть другого человека таким, каков он есть, осознавать его индивидуальность. Уважать человека – значит быть заинтересованным в том, чтобы он развивался по своему собственному пути. Таким образом, уважение исключает использование одного в целях другого. Я хочу, чтобы любимый человек развивался для себя самого и по-своему, а не для того, чтобы служить мне. Если я люблю, я ощущаю себя как одно с любимым человеком, но с ним таким, *каков он есть*, а не с таким, какой он нужен мне для каких-то моих целей. Ясно, что я могу уважать другого, только если я сам независимый человек, если я могу стоять и ходить без поддержки и не нуждаюсь в том, чтобы использовать кого-то в своих целях. Уважение существует только на основе свободы: как поется в одной старой французской песне, «любовь – дитя свободы»; дитя свободы, а не господства.

Но уважать человека невозможно, не зная его; забота и ответственность были бы слепы, если бы они не направлялись *знанием*. А знание было бы бессодержательно, если бы оно не было обусловлено озабоченностью и заинтересованностью. Существует много уровней знания; то знание, которое является одной из сторон любви, никогда не остается поверхностным, оно проникает в самую суть. Это возможно, только если я могу подняться над заботой о себе, увидеть другого с позиции его собственных интересов. Я могу знать, например, что человек

рассержен, даже если он этого не показывает, не проявляет свою злобу открыто; но я могу знать его еще глубже, и тогда я увижу, что он встревожен и обеспокоен, что его мучает одиночество и чувство вины. Тогда я пойму, что его раздражение всего лишь проявление чего-то более глубокого, я увижу, что он стеснен и озабочен, что он не столько сердится, сколько страдает.

Знание связано с любовью еще в одном, и притом более существенном, отношении. Фундаментальная потребность слиться с другим человеком, чтобы вырваться из плена отчуждения, тесно связана с еще одним специфически человеческим желанием – познать «тайну человека». Если жизнь даже в своих чисто биологических проявлениях есть чудо и тайна, то человек в своих человеческих проявлениях тем более есть непостижимая тайна для самого себя – и для своего собрата. Я знаю себя, но как бы я ни старался, я все-таки себя не знаю. Так же я знаю и своего ближнего, и все-таки я его не знаю, потому что я не вещь и мой ближний не вещь. Чем дальше мы проникаем в глубину нашего существа или существа нашего ближнего, тем дальше отодвигается цель нашего познания. И мы не можем не стремиться постичь тайну человеческой души, проникнуть в самую суть того, что есть человек.

Есть отчаянный способ постичь эту тайну: добиться неограниченной власти над другим человеком, власти, способной заставить его делать то, что мы хотим, думать и чувствовать так, как мы хотим; власти, превращающей человека в мою вещь, мою собственность. Крайнее проявление склонности познавать таким способом – садизм, желание и способность мучить, причинять другому человеку страдания, пытать его, чтобы заставить в муках выдать свою тайну. И в этом страстном желании проникнуть в тайну человека, а значит, и в тайну собственного «Я» – одна из главных причин жестокости и стремления к разрушению. Эту мысль очень точно выразил Исаак Бабель. Его герой, участник Гражданской войны в России, затоптавший до смерти своего бывшего барина, говорит: «Стрельбой, я так выскажу, от человека только отделаться можно... стрельбой до души не дойдешь, где она у человека есть и как она показывается. Но я, бывает, себя не жалею, я, бывает, врага час топчу или более часу, мне желательно жизнь узнать, какая она у нас есть...»^[13]

Откровенное стремление к познанию таким способом часто можно наблюдать у детей. Ребенок ломает вещь, чтобы узнать, что у нее внутри; стараясь разгадать тайну живого существа, он с удивительной жестокостью отрывает крылья у бабочки. Таким образом, жестокость имеет глубокую причину – желание познать тайну вещей и тайну жизни.

Другой путь познания «тайны» – любовь. Любовь – это деятельное проникновение в другое существо, в котором моя жажда познания утоляется путем соединения. В слиянии я познаю тебя, я познаю себя, я познаю каждого, но я ничего не «узнаю». Я познаю тайну всего живого единственно возможным для человека способом – переживая это соединение, а не путем размышления. Садизм порождается потребностью познать тайну. Но я знаю так же мало, как и раньше. Я разрываю живое существо на части, но этим я уничтожаю его – и ничего больше. И только любовь – в акте соединения – может удовлетворить мое желание познать тайну. Только любя, отдавая себя другому и проникая в него, я нахожу себя, я открываю себя, я открываю нас обоих, я открываю человека.

Страстное желание познать себя и своего ближнего выражено в изречении Дельфийского оракула «Узнай самого себя». Из этого выросла вся психология. А поскольку желание состоит в том, чтобы узнать все о человеке, то есть вывести его самую сокровенную тайну, его нельзя удовлетворить, используя обычные знания, полученные только путем размышления. Знай мы о самих себе даже в тысячу раз больше, мы все равно никогда не исчерпали бы всего. И мы сами, и окружающие оставались бы для нас такой же загадкой. Единственный способ достичь полного познания – это *любовь-действие*. Это действие выходит за пределы слов и размышлений, так как это – всепоглощающее переживание, переживание соединения. Тем не менее интеллектуальное, то есть психологическое, знание – необходимое условие полного познания в любви как в действии. Мне нужно знать другого и себя объективно, чтобы понять, каков он на самом деле, или, вернее, избавиться от иллюзий и изменить то искаженное представление, которое я о нем имею. И только создав для себя это объективное представление, я смогу познать самую сокровенную сущность человека в любви^[14].

Проблема познания человека перекликается с религиозной проблемой познания Бога. Традиционная теология Запада пытается познать Бога мыслью, делать умозаключения о *Боге*. Считается, что я могу познать Бога размышлением. В мистицизме, который закономерно порождается монотеизмом (как я попытаюсь показать далее), размышление как путь познания Бога отвергается и заменяется переживанием соединения с Богом, в котором нет места знаниям о *Боге*, да и нужды в них.

Переживание единства с человеком, или, выражаясь религиозным языком, с Богом, вовсе не является иррациональным. Напротив, это, как указывал Альберт Швейцер, самый фундаментальный и самый отважный вывод из рационализма. В его основе лежит наше знание принципиальной,

а не случайной ограниченности нашего познания, знание о том, что нам никогда не постичь тайны человека и Вселенной, но что мы тем не менее можем познавать в действенной любви. Психология как наука имеет свои ограничения, и так же как мистицизм есть логическое следствие теологии, любовь – необходимое и окончательное следствие психологии.

Забота и ответственность, уважение и знание взаимосвязаны. Это неразрывный комплекс установок, которые должны быть у зрелого человека, то есть человека, который плодотворно развивает свои возможности, который отказался от нарциссических мечтаний о всеведении и всемогуществе, которому свойственна скромность, порожденная внутренней силой. А такую силу может дать лишь настоящая созидательная деятельность.

До сих пор я говорил о любви как о способе преодоления человеческой отчужденности, как об удовлетворении страстного желания соединения. Но кроме всеобщей, экзистенциальной потребности соединения возникает и более специфическая, биологическая потребность: стремление к соединению мужского и женского полюсов. Идея о поляризации наиболее ярко выражена в мифе о том, что изначально мужчина и женщина составляли одно целое, а потом их разрезали пополам, и с тех пор каждая мужская половина обречена искать свою утраченную женскую, чтобы опять соединиться с ней. (Та же мысль об изначальном единстве полов содержится в библейском рассказе о том, что Ева была создана из ребра Адама, хотя здесь, в духе патриархализма, женщина оказывается «вторичной» по отношению к мужчине.) Значение этого мифа достаточно ясно: существование противоположных полов заставляет человека искать соединения на особом пути, на пути соединения с другим полом. Противопоставление мужского и женского начала существует и *внутри* каждого мужчины и каждой женщины. Так же как физиологически в организме мужчины и женщины присутствуют гормоны противоположного пола, они двуполы также и психологически и несут в себе начала получения и проникновения, начала материи и духа. Мужчина и женщина обретают единство внутри себя только в соединении с противоположным полом. Эта противоположность лежит в основе любого созидания.

Эта же противоположность мужского и женского служит основой созидания человека. В биологическом плане это проявляется очевидным образом: в результате слияния спермы и яйцеклетки зарождается новая жизнь. Но и в чисто психологическом отношении происходит то же самое: в любви мужчина и женщина возрождаются. (При гомосексуальном извращении такого единства противоположностей достичь невозможно, и

поэтому гомосексуалист страдает от непреодолимого, мучительного одиночества; так же, впрочем, страдает и «нормальный» человек наиболее распространенного типа, неспособный любить.)

Такая же противоположность мужского и женского начала существует в природе; и не только в животном и растительном мире – что очевидно, – но и в противоположности двух основных функций получения и проникновения. Это противоположность земли и дождя, реки и океана, ночи и дня, тьмы и света, материи и духа. Эта мысль блистательно выражена великим мусульманским поэтом и мистиком Руми:

Воистину, всегда того, кто любит,
Его возлюбленная ищет, как и он ее.
Когда стрела любви огнем проникла
В его сердце, знай,
Что и в ее сердце есть любовь.
Если ты возлюбишь Бога в своем сердце,
Не сомневайся, что Бог любит тебя.
Хлопка не будет, когда не две
Ладони в нем соединятся.
По мудрой воле Бога мы друг друга возлюбили,
Предначертанию свыше повинуюсь.
Все так устроено в природе,
Что каждая частица мира свою имеет половину.
Он – Небо, а она – Земля;
Земля в себя приемлет то, что посылает Небо,
И вскармливает плоды его.
Когда ж Земле тепла недостает,
Его ей Небо посылает;
Оно же возвращает Земле утраченную влагу
И свежесть.
И Небо совершает ход свой,
Как муж-кормилец, что жену свою питает;
Земля ж хранит очаг домашний,
Во чреве носит, пестует младенцев.
Не скажешь разве ты, что разумом наделены Земля и Небо?
Ибо труды их суть труды существ разумных.
Когда б отрады эти двое друг в друге не обретали,
Зачем тогда б они стремились, как влюбленные, друг к другу?
Когда бы не было Земли, как было б цвести цветку и древу?

Какой бы плод тогда рождали
Тепло и влага, исходящие от Неба?
Как в мужа и жену вложил Господь желанье для того,
Чтобы вселенная союзом их была сохранена,
Так каждую частицу мира
Он наделил стремленьем к другой частице.
И хоть по виду День и Ночь – враги.
Они единой служат цели,
В любви взаимной общие свои труды приумножают.
Когда б не Ночь, как в человеке могло б скопиться
Богатство то, что щедро тратит День?^[15]

В связи с проблемой противоположности мужского и женского необходимо рассмотреть еще некоторые вопросы, касающиеся любви и отношений полов. Я уже писал^[16], что Фрейд ошибался, видя в любви выражение – или сублимацию – полового инстинкта и не учитывая, что само половое влечение есть одно из проявлений потребности в любви и соединении. Но заблуждение Фрейда было даже более серьезным. В соответствии со своей физиолого-материалистической установкой он рассматривал половой инстинкт как результат мучительного напряжения, химического по своей природе, которое требует разрядки. Цель полового влечения – снять это мучительное напряжение; осуществление этого снятия и есть половое удовлетворение. Такой взгляд был бы оправдан, если бы половое влечение действовало на организм точно так же, как голод или жажда. С этой точки зрения половое влечение подобно зуду, а половое удовлетворение состоит в устранении этого зуда. В сущности, если встать на эту точку зрения, то идеальным способом полового удовлетворения был бы онанизм. Фрейд, как это ни парадоксально, оставляет в стороне психобиологическую сферу сексуальности – противоположность мужского и женского – и желание преодолеть эту противоположность в соединении. Этому странному заблуждению, возможно, способствовала и его крайне патриархальная установка, которая привела его к представлению, что сексуальность – по существу – мужское качество, и тем самым к игнорированию специфически женской сексуальности. Он выразил эту мысль в своих «Трех статьях к вопросу о теории пола», утверждая, что либидо имеет, как правило, «мужскую природу» независимо от того, у мужчины или у женщины оно возникает. В рационализированной форме эта же мысль выражена в утверждении Фрейда о том, что маленький

мальчик воспринимает женщину как кастрированного мужчину, а сама она всячески стремится компенсировать отсутствие мужского полового органа. Но женщина – не кастрированный мужчина, и ее сексуальность – по своей природе специфически женская, а не мужская.

Взаимное влечение полов лишь отчасти мотивировано потребностью снять напряжение; это прежде всего потребность соединения с противоположным полюсом. В действительности эротическое влечение проявляется отнюдь не только в виде сексуального влечения. Существуют мужские и женские черты *в характере*, так же как и *в сексуальных функциях*. Мужской характер можно определить как такой, которому присущи способность преодолевать препятствия и руководить, активность, дисциплина, предприимчивость; женскому характеру присущи способность плодотворно воспринимать, покровительствовать; женский характер отличается реализмом, выносливостью, материнским отношением к людям. (Нужно всегда иметь в виду, что в каждом индивидуе присутствуют и те, и другие качества, но преобладают именно характерные для «его» или «ее» пола.) Очень часто, если мужские качества в характере мужчины выражены слабо, потому что эмоционально, психически он остался ребенком, он старается восполнить этот недостаток, придавая особое значение своей мужской роли *в половых отношениях*. В результате получается Дон Жуан, который испытывает потребность проявить свои мужские достоинства в сексе, потому что не уверен в своей мужественности в характерологическом смысле. При самых тяжелых формах недостаточности мужских качеств характера главным – и извращенным – их заменителем становится садизм (стремление к насилию). Ослабленная или извращенная чувственность у женщины превращается в мазохизм или стремление к зависимости.

Фрейд немало критиковали за преувеличение роли секса. Часто эта критика вызывалась стремлением устранить из учения Фрейда те черты, которые особенно раздражали консервативно настроенных людей. Фрейд это ясно осознавал и именно поэтому сопротивлялся любым попыткам изменить его теорию пола. Действительно, в то время теория Фрейда носила бунтарский, революционный характер. Но то, что было верно в 1900 г., стало неверным 50 лет спустя. Нравы изменились настолько, что теория Фрейда уже не шокирует средние классы западного общества, и когда сегодня ортодоксальные психоаналитики все еще считают себя смелыми и передовыми, потому что защищают фрейдовскую теорию пола, – это радикализм, достойный Дон Кихота.

В действительности этот вид психоанализа – конформистский, он не

пытается ставить психологические вопросы, ведущие к критике современного общества.

Что касается меня, то я критикую теорию Фрейда не за то, что он переоценил роль секса, а за то, что он понимал секс недостаточно глубоко. Фрейд сделал первый шаг к раскрытию значения страстей в отношениях между людьми; в соответствии со своими философскими посылками он объяснял их физиологически. В ходе дальнейшего развития психоанализа необходимо исправить и углубить концепцию Фрейда, переводя его прозрение из физиологического в биологический и экзистенциальный аспект^[17].

2. Любовь между родителями и детьми

В момент рождения ребенок испытывал бы страх смерти, если бы милостивая судьба не предохранила его от всякого осознания тревоги, связанной с отделением от матери и прекращением внутриутробного существования. И после рождения ребенок немногим отличается от того, чем он был перед рождением; он еще не узнает предметы, не осознает себя и не осознает мир как внешний по отношению к себе. Он испытывает только приятные ощущения от тепла и пищи и не отделяет еще тепло и пищу от их источника – матери. Мать – это *и есть* тепло, это *и есть* пища, это *и есть* эйфорическое состояние удовлетворенности и безопасности. В терминологии Фрейда это состояние есть состояние нарциссизма. Окружающая действительность, люди и предметы имеют для него значение лишь постольку, поскольку они положительно или отрицательно влияют на внутреннее состояние его организма. Реально лишь то, что внутри; то, что вне меня, реально лишь постольку, поскольку это касается моих потребностей, а не с точки зрения собственных качеств или потребностей окружающих.

Когда ребенок растет и развивается, он приобретает способность воспринимать вещи такими, какие они есть; он начинает отличать удовлетворение, связанное с сытостью, от соска, грудь от матери. Постепенно ребенок начинает воспринимать жажду, утоляющее ее молоко, грудь и мать как различные сущности. Он учится воспринимать и многие другие предметы как существующие отдельно. При этом он учится называть их. В это же время он учится обращаться с предметами; узнает, что огонь горячий и причиняет боль, что тело матери теплое и приятное, что дерево твердое и тяжелое, что бумага легкая и ее можно порвать. Он учится обращаться с людьми: узнает, что мать улыбнется, когда он будет есть, возьмет его на руки, когда он заплачет, похвалит, если он сходит на горшок. Все эти переживания кристаллизуются и соединяются в одно: *меня любят*. Меня любят потому, что я – мамин сын. Меня любят, потому что я беспомощен. Меня любят, потому что я прекрасен и достоин восхищения. Меня любят, потому что я нужен маме. Все это можно обобщить так: *меня любят за то, что я есть*, или, точнее, *меня любят потому, что я есть*. Это переживание, что ты любим матерью, пассивное. Мне ничего не нужно делать, чтобы меня любили, – материнская любовь безусловна. Все, что я должен делать, – это *быть*, быть ее ребенком. Любовь матери – это

блаженство и покой, ее не нужно добиваться и не нужно заслуживать. Но в безусловности материнской любви есть и отрицательная сторона. Ее не только не нужно заслуживать – ее невозможно добиться, *невозможно* создать, ею нельзя управлять. Если она есть, это как благословение; если нет – это подобно тому, как если бы из жизни ушло все ее очарование, и ничего нельзя сделать, чтобы эта любовь возникла.

Для большинства детей младше 8,5–10 лет^[18] проблема почти исключительно в том, *чтобы их любили*, чтобы их любили за то, что они есть. До этого возраста ребенок еще не может любить; он только благодарно и радостно отвечает на любовь к нему. Теперь вступает в действие новый фактор: ребенок начинает чувствовать, что он порождает любовь своими собственными действиями. Впервые ребенок думает о том, чтобы дать что-то матери (или отцу), чтобы что-то создать: стихотворение, рисунок или что-нибудь еще. Впервые в жизни у ребенка понятие любви преобразуется из «быть любимым» в «любить», «порождать любовь». От этого начала до созревания чувства любви пройдет много лет. Постепенно, мало-помалу ребенок – может быть, становясь уже подростком – преодолевает свой эгоцентризм; другой человек перестает быть прежде всего средством удовлетворения его потребностей. Потребности другого человека становятся для него так же важны, как свои собственные, и даже важнее. Давать становится приятнее, чем получать, любить – важнее, чем быть любимым. Любя, он освобождается из плена одиночества и изоляции, создаваемых его нарциссизмом и эгоцентризмом. Он испытывает новое чувство соединения, участия, единства. Более того – он чувствует, что в его силах создать любовь своей любовью, а не зависеть от того, что он получает, когда его любят, для чего он должен быть маленьким, беспомощным, больным, то есть «хорошим». Детская любовь следует принципу: «Я люблю, *потому что меня любят*». В основе зрелой любви лежит принцип: «*Меня любят, потому что я люблю*». Незрелая любовь говорит: «Я люблю тебя, *потому что ты мне нужен*». Зрелая любовь говорит: «*Ты мне нужен, потому что я тебя люблю*».

С развитием способности любить связано развитие *объекта* любви. В первые месяцы и годы ребенок самым тесным образом привязан к матери. Эта связь начинается еще до рождения, когда мать и дитя еще составляют одно целое, хотя их и двое. Рождение в некоторых отношениях изменяет ситуацию, но не настолько сильно, как может показаться. Ребенок, хотя и живет теперь вне утробы, все еще полностью зависит от матери. Но с каждым днем он становится все более независимым: он учится ходить, говорить, учится сам исследовать мир; его связь с матерью в известной

степени теряет жизненную значимость. Зато все большую важность приобретают отношения с отцом.

Чтобы понять этот сдвиг от матери к отцу, нужно принять во внимание существенную разницу между материнской и отцовской любовью. О материнской любви мы уже говорили. Материнская любовь безусловна по самой своей природе. Мать любит своего новорожденного младенца потому, что это ее дитя, а не потому, что ребенок выполняет какие-то ее условия или оправдывает какие-то ее надежды. (Конечно, говоря о материнской и отцовской любви, я имею в виду «идеальные типы» – по терминологии Макса Вебера – или «архетипы» – по терминологии Юнга.) Я вовсе не хочу сказать, что каждый отец и каждая мать любят именно так. Я имею в виду отцовское и материнское начало, которое представлено в личности матери и отца. Безусловная любовь отвечает одному из самых страстных стремлений не только ребенка, но и любого человека. С другой стороны, когда тебя любят за какие-то твои достоинства, когда ты заслуживаешь любовь, всегда возникают сомнения: а вдруг я почему-либо перестану нравиться тому, чьей любви я добиваюсь; всегда есть страх, что любовь может исчезнуть. Кроме того, «заслуженная» любовь может оставлять горькое чувство, что тебя любят не ради тебя самого, а *только* потому, что ты нравишься; что тебя, если разобраться, вообще не любят, а используют. Неудивительно, что мы все никогда не перестаем страстно желать материнской любви – и в детстве, и став взрослыми. Большинству детей все же достается материнская любовь (в какой степени – будет сказано ниже). Взрослому удовлетворить это стремление гораздо труднее. При наиболее благоприятных условиях развития это становится частью нормальной эротической любви; часто это проявляется в религиозной форме, и еще чаще – в форме неврозов.

Отношения с отцом совсем другие. Мать для нас – наш родной дом, природа, земля, океан; отца мы не представляем таким природным домом. Отец мало связан с ребенком в первые годы его жизни, и его важность для ребенка в этот ранний период не идет ни в какое сравнение с важностью матери. Но, не представляя мир природы, мир естественный, отец представляет другой полюс человеческого существования: мир мысли, мир вещей, сделанных своими руками, мир закона и порядка, дисциплины, мир путешествий и приключений. И именно отец обучает ребенка, указывает ему путь в этот мир.

К этой функции отца близка другая, связанная с социально-экономическим развитием. Когда появилась частная собственность и когда она стала переходить по наследству от отца к одному из сыновей, отец стал

хотеть такого сына, которому он мог бы оставить свою собственность. Естественно, это был сын, наиболее достойный, по мнению отца, стать его преемником, сын, больше всего похожий на него и потому самый любимый. Любовь отца – это любовь на определенных условиях. Ее принцип: «Я люблю тебя, потому что ты оправдываешь мои надежды, потому что ты исполняешь свой долг, потому что ты похож на меня». В «обусловленной» отцовской любви, как и в «безусловной» материнской, можно найти и отрицательную, и положительную сторону. Отрицательная сторона именно в том, что отцовскую любовь надо заслужить, что ее можно потерять, если не оправдаешь ожиданий. В самой природе отцовской любви заложено то, что послушание становится главной добродетелью, а непослушание – главным грехом, который карается лишением отцовской любви. Но не менее важна и положительная сторона. Если любовь возникает на определенных условиях, то я могу что-то сделать, чтобы завоевать ее, я могу добиться ее, приложив усилия; в отличие от материнской любви любовью отца можно управлять.

Позиции отца и матери по отношению к ребенку отвечают его потребностям. Младенцу нужна безусловная материнская любовь и забота, как физиологически, так и психически. После шести лет ребенок начинает испытывать потребность в отцовской любви, в его авторитете и руководстве. Функция матери – обеспечить ему безопасность в жизни; функция отца – учить его, направлять его в решении задач, которые ставит перед ребенком то общество, в котором он родился. В идеальном случае материнская любовь не пытается препятствовать взрослению ребенка, не культивирует его беспомощность. Мать должна быть уверена в жизни и, значит, не должна тревожиться сверх меры, чтобы не заразить своей тревогой ребенка. Желание, чтобы ребенок стал независимым и постепенно отделился от нее, должно быть частью ее жизни. Отцовская любовь руководствуется принципами и ожиданиями; она должна быть скорее спокойной и терпеливой, нежели властной и устрашающей. Она должна обеспечивать растущему ребенку все более сильное чувство уверенности в своих силах и со временем позволить ему самому распоряжаться собой и обходиться без отцовского руководства.

Мало-помалу зрелый человек приходит к такому состоянию, когда он сам становится для себя и матерью, и отцом. Он как бы совмещает в себе материнское и отцовское сознание. Материнское сознание говорит: «Никакой дурной поступок, никакое преступление не смогут лишить тебя моей любви, я всегда буду желать тебе счастья». Отцовское сознание говорит: «Ты поступил дурно, и тебе придется смириться с известными

последствиями твоего дурного поведения; а главное – тебе придется изменить его, если ты хочешь, чтобы я тебя любил». Зрелый человек освобождается от внешнего присутствия матери и отца и создает их образ внутри себя. Однако, в отличие от фрейдовской концепции суперэго, он создает их внутри себя не тем, что делает мать и отца *частью* себя, но создает в себе материнское сознание из своей способности любить и отцовское сознание – из своего разума и нравственного чувства. Более того, взрослый человек любит и по-матерински, и по-отцовски, несмотря на то что материнское и отцовское сознания в нем, по видимости, противоречат друг другу. Если бы он сохранил в себе только отцовское сознание, он стал бы жестоким и бесчеловечным; если бы он сохранил в себе только материнское сознание, он мог бы потерять способность к оценкам и помешать собственному развитию и развитию других.

Это развитие от привязанностей, концентрирующихся вокруг матери, к привязанностям, концентрирующимся вокруг отца, и их постепенное соединение образуют основу духовного здоровья и позволяют достичь зрелости. Отклонение от нормального пути этого развития составляет основную причину неврозов. Хотя в этой книге мы не собираемся подробно развивать эту идею, все же кратко поясним это утверждение.

Одна из причин невротического развития может состоять в том, что у мальчика любящая, но слишком снисходительная или слишком властная мать и слабый и равнодушный отец. В этом случае он может задержаться на стадии ранней младенческой привязанности к матери и развиваться в человека, зависимого от матери. Он будет чувствовать себя беспомощным, у него будут преобладать стремления, характерные для рецептивной личности: получать, быть под защитой, быть предметом заботы. У него не будет отцовских качеств: организованности, независимости, умения самому распоряжаться своей жизнью. Возможно, он будет искать «мать» в каждом – иногда в женщинах, иногда в мужчинах, у которых он находится в подчинении. С другой стороны, если мать холодная, равнодушная и властная, он может либо перенести свою потребность в материнской защите на отца и впоследствии на его образы – тогда конечный результат будет таким же, как и в предыдущем случае, – либо развиваться в одностороннюю личность с ориентацией на отца, которая живет исключительно по принципу закона, порядка и авторитета и не способна ожидать или получать безусловную любовь. Развитие в этом направлении происходит особенно легко, если холодность матери усугубляется авторитарностью отца, который в то же время сильно привязан к сыну. Для всех этих типов невротического развития характерно то, что одно из начал

– отцовское или материнское – остается неразвитым или, в случае более тяжелого невроза, что роли и отца, и матери смешиваются как в отношении других людей, так и внутри личности. Более глубокое исследование может показать, что некоторые типы неврозов, такие, как невроз навязчивых состояний, развиваются преимущественно на основе односторонней привязанности к отцу, тогда как другие – например, истерия, алкоголизм, неспособность к самоутверждению и к реальному взгляду на жизнь, а также депрессии – возникают в результате односторонней концентрации привязанностей вокруг матери.

3. Объекты любви

Неверно было бы считать, что любовь – это прежде всего отношение к какому-то конкретному человеку; это – *установка, ориентация характера личности*, определяющая отношение личности к миру в целом, а не к одному лишь «объекту» любви. Если человек любит только одного из других людей и равнодушен ко всем остальным своим собратьям, его любовь – это не любовь, а всего лишь симбиотическая привязанность, иначе говоря – расширенный эгоизм. Однако большинство людей полагает, что любовь определяется объектом, а не способностью. То, что они не любят никого, кроме «любимого» человека, они даже считают доказательством силы своей любви. Это заблуждение сродни упомянутому выше. Поскольку люди не понимают, что любовь есть деятельность, душевная сила, они думают, что нужно только найти настоящий объект, а остальное приложится потом само собой. Эту установку можно сравнить с установкой человека, который хочет рисовать, но вместо того чтобы учиться этому искусству, говорит, что ему нужно лишь дождаться подходящей натуры, и стоит ему ее найти, как он создаст прекрасное полотно. Если я в самом деле люблю одного человека, то я люблю всех людей, я люблю весь мир, я люблю жизнь. Если я могу сказать кому-то: «Я тебя люблю», то нужно, чтобы я мог этим сказать: «В тебе я люблю всех; любя тебя, я люблю весь мир, в тебе я люблю и себя самого».

Из утверждения, что любовь – это установка, относящаяся ко всему, а не только к одному человеку, не следует, однако, что разные виды любви не отличаются друг от друга в зависимости от особенностей ее объекта.

а) Братская любовь

Наиболее фундаментальный тип любви, лежащий в основе всех ее видов, – *братская любовь*. Под братской любовью я понимаю чувство ответственности, заботу, уважение, знание другого человека, желание помочь ему в жизни. Именно о такой любви говорится в Библии: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Лев. 19: 18; Мф. 22: 39; Мк. 12: 31). Братская любовь – это любовь ко всем людям; именно это отсутствие исключительности – ее характерная черта. Если я развил в себе способность любить, я не могу не любить своих братьев. В братской любви достигается переживание соединения со всеми людьми, человеческой солидарности, человеческого единства. В основе братской любви лежит

переживание того, что мы все – одно. Разница в талантах, умственных способностях, знаниях пренебрежимо мала по сравнению с общностью человеческой сути, одинаково присущей всем людям. Чтобы испытать эту общность, нужно с поверхности проникнуть в суть. Если я воспринимаю другого человека поверхностно, я воспринимаю главным образом то, что нас различает, то, что нас разъединяет. Если я проникаю в суть, я ощущаю нашу общность, я ощущаю, что мы братья. Эта связь от центра к центру, а не от периферии к периферии есть «центральная связь», или, как блестяще сказала Симона Вей: «Одни и те же слова (например, когда муж говорит жене: „Я тебя люблю“) могут быть исключительно важными или ничего не значить – смотря по тому, как они сказаны. А то, как они сказаны, зависит от того, насколько глубок пласт личности, из которого они исходят, – и это не подвластно воле. И чудесным образом они достигают того же пласта в душе человека, которому предназначены. И потому этот человек может распознать – если он вообще способен распознавать, – чего стоят эти слова»^[19].

Братская любовь – это любовь равных; но в действительности, даже будучи равными, мы не всегда «равны»; поскольку все мы люди, всем нам нужна помощь. Сегодня мне, завтра – тебе. Однако то, что мы нуждаемся в помощи, еще не значит, что одни из нас беспомощны, а другие могущественны. Беспомощность – преходящее состояние; способность же стоять и ходить на своих ногах есть способность постоянная и всеобщая.

Тем не менее любовь к слабому, любовь к бедняку и чужестранцу есть начало братской любви. Любить собственную плоть и кровь – не бог весть какое достижение. Животное тоже любит своих детенышей и заботится о них. Беспомощный любит своего хозяина, потому что от него зависит его жизнь, ребенок любит своих родителей, потому что они ему нужны. И только в любви к тем, кто не служит никакой цели, любовь начинает раскрываться. Не случайно главный объект человеческой любви в Ветхом Завете – бедняк, чужестранец, вдова и сирота и, наконец, национальный враг – египтянин и эдомит. Сочувствуя беспомощному, человек развивает в себе любовь к брату; и в любви к самому себе он тоже любит того, кто нуждается в помощи, любит беззащитное, хрупкое существо. Сочувствие предполагает знание и отождествление. В Ветхом Завете говорится: «Пришельца не обижай... вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле Египетской» (Исх. 23: 9).

б) Материнская любовь

Мы уже рассматривали природу материнской любви в предыдущей

главе, когда говорили о разнице между материнской и отцовской любовью. Материнская любовь, как я говорил, – это безусловное утверждение жизни ребенка, его потребностей. Но к этому нужно добавить еще одно важное уточнение. Утверждение жизни ребенка имеет две стороны; одна из них – это забота и ответственность, совершенно необходимые для сохранения жизни ребенка, его развития. Другая сторона идет дальше простого сохранения. Это установка, которая прививает ребенку любовь к жизни, которая дает ему почувствовать, что это прекрасно – жить, что это прекрасно – быть маленьким мальчиком или маленькой девочкой, что это прекрасно, что он есть на этой земле! Эти две стороны очень точно выражены в библейском рассказе о сотворении мира. Бог создает мир и человека. Это соответствует простой заботе и утверждению существования. Но Бог идет дальше этого минимального требования: рассказ о каждом дне творения заканчивается словами: «И увидел Бог, что *это* хорошо» (Быт. 1: 25). Материнская любовь дает ребенку почувствовать: «Это хорошо, что ты родился»^[20], это прививает ребенку *любь к жизни*, а не просто желание жить. Эту же мысль отражает другой библейский символ. Земля обетованная (а земля всегда символизирует мать) описывается как «истекающая молоком и медом»^[21]. «Молоко» – символ первой стороны любви, состоящей в заботе и утверждении. «Мед» символизирует сладость жизни, любовь к ней и счастье жить. Большинство матерей способно давать «молоко», но лишь немногие дают и «мед». Чтобы суметь дать «мед», мать должна быть не только «хорошей матерью», но и счастливым человеком – а этого мало кто достигает. Трудно переоценить, насколько сильно это действует на ребенка. Любовь матери к жизни так же заразительна, как ее тревога. Та и другая установки оказывают глубокое воздействие на всю личность ребенка; и действительно, можно распознать среди детей – и среди взрослых – тех, кто получает только «молоко», и тех, кто получает «молоко» и «мед».

В отличие от братской и эротической любви, которая есть любовь равных, взаимоотношения между матерью и ребенком по самой своей природе являются отношениями неравенства, при которых один нуждается в помощи, а другой ее оказывает. И именно за это материнскую любовь, полную альтруизма и не знающую эгоизма, считают самым возвышенным родом любви и узы ее – самыми священными из всех эмоциональных уз. Однако истинным достижением материнской любви представляется не любовь матери к младенцу, а любовь ее к подрастающему ребенку. Современные матери в большинстве остаются любящими матерями, пока

ребенок еще маленький и полностью от них зависит. В подавляющем большинстве женщины хотят ребенка, счастливы своим новорожденным и страстно желают заботиться о нем. И это несмотря на то что они не «получают» от ребенка ничего взамен, кроме улыбки или выражения удовольствия на его лице. Такая установка личности коренится, по-видимому, в комплексе инстинктов, наличествующих как у самок животных, так и у женщин. Но какое бы место ни занимал этот инстинктивный фактор, существуют еще специфические психологические факторы, формирующие этот тип материнской любви. Один из таких факторов можно видеть в нарциссическом элементе материнской любви. Поскольку мать ощущает младенца как часть себя, ее любовь и безрассудная страсть может быть удовлетворением ее нарциссизма. Еще один мотив может лежать также в стремлении матери к власти или обладанию. Ребенок, беспомощный и полностью подчиненный ее власти, служит естественным средством удовлетворения для властной женщины или женщины с собственническими наклонностями.

Как ни распространены такие мотивы, все же они уступают в важности и всеобщности еще одному мотиву, который можно назвать потребностью преодоления (*transcendence*). Эта потребность преодоления – одна из самых основных человеческих потребностей; корни ее в том, что человек осознает себя, в том, что он не удовлетворен ролью сотворенного, в том, что он не может смириться с ролью игровой кости. Ему самому необходимо почувствовать себя творцом, преодолеть пассивную роль сотворенного. Есть много способов удовлетворять эту потребность; из них самый простой и естественный – материнская любовь и забота о своем создании. В своем младенце мать выходит за пределы собственной личности. Любовь к нему придает ее жизни особый смысл и значение. (Именно в невозможности для мужчины удовлетворить свою потребность преодоления, вынашивая ребенка, – причина стремления превзойти себя, создавая мысли и вещи.) Но ребенок должен расти. Он должен выйти из утробы матери, оторваться от ее груди; постепенно он должен полностью от нее отделиться. Материнская любовь по самой своей сути есть забота о том, чтобы ребенок рос, а потому мать должна желать отделения ребенка. В этом главное отличие материнской любви от любви эротической. В эротической любви двое, которые существовали отдельно, становятся одним целым. В материнской любви двое, которые были одно, отделяются друг от друга. Мать не только должна вытерпеть отделение ребенка, но должна сама этого хотеть и способствовать этому. И только на этой стадии материнская любовь становится настолько трудным делом, что требует

отказа от эгоизма, способности отдать все, не желая ничего взамен, кроме счастья того, кого она любит. И именно на этой стадии многие матери не справляются с задачей материнской любви. Самовлюбленная, властная женщина, женщина-собственница с успехом может быть «любящей» матерью, лишь пока ребенок мал. И только самостоятельная женщина, любящая по-настоящему, женщина, которая больше радуется, отдавая, чем получая, может быть любящей матерью и тогда, когда ребенок отделяется от нее.

Материнская любовь к подрастающему ребенку, любовь, ничего не требующая взамен, есть, вероятно, самая труднодостижимая форма любви; в ней особенно просто обмануться благодаря той легкости, с которой матери удается любить своего малыша. И именно потому, что это так трудно, женщина может быть по-настоящему любящей матерью, только если она умеет любить; если она способна любить своего мужа, других детей, чужих людей, всякое человеческое существо. Женщина, неспособная на такую любовь, может быть нежной матерью, только пока ребенок мал, но она не может быть по-настоящему любящей матерью. А узнать это можно по тому, готова ли она с охотой перенести отделение от себя ребенка и даже после этого продолжать его любить.

в) Эротическая любовь

Братская любовь есть любовь равных; материнская любовь – любовь к беспомощному. Отличаясь одна от другой, эти две формы любви имеют между собой то общее, что они по самой своей природе не ограничены одним человеком. Если я люблю своего брата, я люблю всех своих братьев; если я люблю своего ребенка, я люблю всех своих детей; более того, я люблю всех детей вообще, всех, кто нуждается в моей помощи. В отличие от этих двух типов *эротическая любовь* есть страстное желание полного слияния, соединения с одним человеком. Это желание по самой своей природе исключительно, а не всеобщее; и это, может быть, самая обманчивая форма любви.

Прежде всего ее часто путают с похожим на взрыв переживанием «влюбления», «впадения» в любовь^[22], с внезапным разрушением барьеров, которые существовали до этого между двумя чужими людьми. Но, как мы отмечали выше, это переживание внезапного сближения по самой своей природе недолговечно. После того как мы близко узнаем чужого человека, нам не нужно больше преодолевать никаких барьеров и достигать внезапного сближения. Мы теперь знаем «любимого» человека так же хорошо, как себя, или, лучше сказать, знаем так же плохо. Если бы

переживание нами другого человека было глубже, если бы можно было прочувствовать всю безбрежность его личности, этот другой человек никогда не стал бы так хорошо знакомым и чудо преодоления барьеров могло бы каждый день повторяться заново. Большинство людей быстро изучает и исчерпывает как себя самого, так и другого. Сближаются они прежде всего через половую связь. Поскольку они воспринимают разделение с другим человеком прежде всего как физическое разделение, то и физическое соединение для них означает преодоление этого разделения.

Помимо этого существуют и другие факторы, которые многие принимают за преодоление отчужденности. Поговорить о своей личной жизни, о своих надеждах и стремлениях, продемонстрировать свои детские черты, найти общие интересы в отношении к миру – все это принимается за преодоление отчужденности. За близость принимается даже открытое выражение злости и ненависти, полной неспособности сдерживаться. Этим можно объяснить извращенную привязанность друг к другу супругов, которые близки только в постели или тогда, когда дают выход взаимной ненависти и гневу. Но все эти виды близости с течением времени все более ослабевают. И поэтому человек ищет новой любви с другим человеком. И снова чужой человек становится «близким», снова сильно и возбуждающе радостно переживание влюбленности, и снова оно постепенно ослабевает и кончается стремлением к новой победе, к новой любви – и всегда остается иллюзия, что новая любовь будет не такой, как прежние. В большой мере эти иллюзии поддерживаются обманчивостью полового влечения.

Цель полового влечения – слияние, и это влечение порождается отнюдь не только физической потребностью в облегчении болезненного напряжения. Тревога, порождаемая одиночеством, желание побеждать или быть побежденным, тщеславие, желание принести вред и даже разрушить – все это так же может способствовать появлению полового влечения, как и любовь. Половое влечение, по-видимому, может сочетаться с любым сильным чувством и порождаться им. И любовь – всего лишь одно из таких чувств. Поскольку для большинства людей представление о половом влечении неотделимо от понятия любви, они легко приходят к ошибочному выводу, будто они любят друг друга, если они хотят друг друга физически. Любовь может порождать стремление к половому соединению, и в этом случае физическая близость лишена всякой жадности, желания победить или быть побежденным, но проникнута нежностью. Если стремление к половому соединению не порождается любовью, если эротическая любовь не является в то же время братской любовью, она никогда не приведет ни к какому союзу, кроме оргиастического, преходящего. Половое влечение

создает на мгновение иллюзию соединения, однако без любви люди и «соединяясь» остаются такими же чужими, как прежде; иногда они из-за этого стыдятся друг друга или даже ненавидят, потому что, когда иллюзия рассеивается, они ощущают себя еще более чужими. Нежность никоим образом не является, как считал Фрейд, сублимацией полового инстинкта; это прямой результат братской любви, и она присутствует как в физических, так и в нефизических формах любви.

Эротическая любовь исключительна, чего нельзя сказать о братской и материнской любви. Эта исключительность эротической любви заслуживает более подробного рассмотрения. Нередко исключительный характер эротической любви ошибочно истолковывают как привязанность к собственности. Часто можно встретить двух «любящих», которые не любят больше никого. В действительности их любовь есть не что иное, как самовлюбленность а *deux*^[23]; это два человека, которые отождествляют себя друг с другом и решают проблему одиночества, расширяя единицу до пары. Им кажется, что они преодолели одиночество, но, отделенные от остальных людей, они остаются отделенными друг от друга и отчужденными от самих себя; их ощущение соединения иллюзорно. Эротическая любовь исключительна, но это любовь ко всему человечеству, ко всему живому в лице одного человека. Она исключительна лишь в том смысле, что я могу слиться полностью и страстно только с одним человеком. Эротическая любовь исключает любовь к другим только в смысле эротического слияния, полной отдачи во всех сторонах жизни, – но не в смысле братской любви.

Для эротической любви – если это любовь – необходима одна предпосылка, а именно: я должен любить всем своим существом и переживать другого человека во всей глубине его существа. По сути, все человеческие существа тождественны. Мы все – часть Одного; мы все суть Одно. Если это так, то должно быть безразлично, кого любить. Любовь должна была бы быть, в сущности, актом воли, решением полностью посвятить мою жизнь жизни другого человека. И в самом деле, эта мысль служит обоснованием идеи нерасторжимости брака; она же лежит в основе многих традиционных форм брака, при которых жених и невеста никогда не выбирают друг друга, будучи уже друг для друга избраны, – и все же ожидается, что они будут друг друга любить. В современной западной культуре эта мысль целиком и полностью отвергается. Здесь считают, что любовь – это всплеск эмоций, состояние, когда человек внезапно охвачен чувством, которому невозможно противостоять. Замечают только особенности двух данных людей, а не то, что каждый мужчина – часть

Адама и каждая женщина – часть Евы. Игнорируется такой важный фактор эротической любви, как воля. Любить кого-то – это не просто сильное чувство: это решение, это суждение, это обет. Если бы любовь была только чувством, незачем было бы обещать любить друг друга вечно. Чувство приходит и может уйти. Как я могу полагать, что оно будет вечным, если мои действия не основаны на сознательном решении?

Встав на эту точку зрения, можно прийти к выводу, что любовь – это исключительно акт воли и обет и что поэтому не имеет принципиального значения, кто эти двое. Будет ли их брак устроен кем-то другим или это будет их собственный выбор – поскольку брак заключен, акт воли обеспечит продолжение их любви. При такой точке зрения не учитывается противоречивый характер человеческой природы и эротической любви. Мы все – Одно, и тем не менее каждый из нас – неповторимая, уникальная сущность. Это противоречие повторяется в наших взаимоотношениях с другими людьми. Поскольку мы все – одно, мы можем любить всех одинаково – братской любовью. Но, поскольку мы все-таки разные, эротическая любовь требует чего-то индивидуального, в высшей степени личностного, существующего только между конкретными людьми, а не между всеми.

Обе точки зрения: та, по которой эротическая любовь есть строго индивидуальная привязанность, неповторимая, присущая только двум конкретным людям, и другая, по которой эротическая любовь есть всего лишь акт воли, – обе они верны; или, скорее, ни одна из них не верна. Поэтому одинаково ошибочно думать, что неудавшиеся взаимоотношения можно легко разорвать и что эти взаимоотношения не должны прерываться ни при каких обстоятельствах.

2) Любовь к себе^[24]

Хотя никто не возражает против применения понятия любви к различным объектам, широко распространено мнение, что в то время как любить других – добродетель, любить себя – грех. Предполагается, что чем больше я люблю себя, тем меньше я люблю других, что любовь к себе – то же самое, что «эгоизм». Эта точка зрения имеет в западном мышлении глубокие корни. Кальвин считает любовь к себе «чумой»^[25]. Фрейд описывает любовь к себе с точки зрения психиатрии, и тем не менее смысл его суждения тот же, что и у Кальвина. Для него любовь к себе – это то же, что нарциссизм, либидо, направленное на самого себя. Нарциссизм – это самая ранняя стадия человеческого развития, и человек, вернувшийся к

этой стадии, позже не способен любить; крайняя степень этого явления – уже душевная болезнь. Фрейд считает, что любовь – проявление либидо; либидо, направленное на других, есть любовь; либидо, направленное на себя, есть себялюбие. Таким образом, любовь и себялюбие – взаимоисключающие понятия в том смысле, что чем сильнее одно, тем слабее другое. Если любить себя – плохо, значит, не быть эгоистом хорошо.

В связи с этим возникает ряд вопросов. Подтверждается ли тезис о фундаментальном противоречии между любовью к себе и любовью к другим психологическими наблюдениями? Есть ли любовь к себе то же самое явление, что и эгоизм, или это противоположные явления? Далее, действительно ли эгоизм современного человека представляет собой заботу о самом себе как о личности со всеми возможностями ее интеллекта, эмоций и ощущений? Не стал ли этот человек придатком своей социально-экономической роли? Тождествен ли его эгоизм с любовью к себе или, напротив, обусловлен как раз ее отсутствием?

Прежде чем приступить к обсуждению психологического аспекта эгоизма и любви к себе, следует подчеркнуть, что представление, согласно которому понятия «любовь к другим» и «любовь к себе» исключают друг друга, несостоятельно. Если любить своего ближнего как человека – добродетель, то и любить себя самого тоже должно быть добродетелью, а не пороком, поскольку я тоже человек. Невозможно такое понятие человека, которое не включало бы меня самого. Всякая доктрина, требующая такого исключения, оказывается внутренне противоречивой. В библейском изречении «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» подразумевается, что уважение к своей собственной цельности и неповторимости, любовь и понимание себя самого неотделимы от уважения, любви и понимания другого человека. Любовь к самому себе неразрывно связана с любовью ко всякому другому существу.

Мы подошли теперь к основным психологическим предпосылкам, определяющим наши выводы. В общих чертах эти предпосылки сводятся к следующему: не только другие, но и мы сами являемся «объектом» наших чувств и установок; наши отношения к другим и к самим себе не только не противоречат друг другу, но по самой сути своей *связаны*. Для рассматриваемой проблемы это означает, что любовь к другим и любовь к себе отнюдь не исключают друг друга. Напротив, любовь к самим себе обнаруживается у всех тех, кто способен любить других. *Любовь в принципе неделима, поскольку это касается связи между «объектами» любви и личностью любящего.* Истинная любовь есть проявление плодотворного начала; она предполагает заботу, уважение, ответственность

и знание. Это не «аффект», в том смысле, что человек подвергается воздействию со стороны кого-то другого^[26], – это активное желание развития и счастья для любимого человека, стремление, основанное на имеющейся у человека способности любить.

В любви к конкретному человеку реализуется и сосредоточивается сила любви, способность любить. Главное, утверждающее начало, содержащееся в любви, направлено на любимого человека как на воплощение качеств, заложенных в человеческой природе. Любовь к одному человеку предполагает любовь к человеку как таковому. То своего рода «разделение труда», как называет это Вильям Джеймс, когда человек любит членов своей семьи, но не испытывает никаких чувств к «посторонним», – признак принципиальной неспособности любить. Любовь к людям – не абстракция, не отвлеченное чувство, которое, как часто думают, следует за любовью к конкретному человеку, но предпосылка последней, хотя в процессе эволюции она развилась из любви к конкретным индивидуумам.

Отсюда следует, что мое собственное «Я» должно быть таким же объектом моей любви, как и другой человек. *Утверждение своей собственной жизни, своего счастья, развития, свободы основано на способности любить*, то есть на заботе, уважении, ответственности и знании. Если индивид способен на плодотворную любовь, он любит также и себя; если он способен любить *только* других, он не способен любить вообще.

Если допустить, что любовь к себе и любовь к другим в принципе взаимосвязаны, как тогда объяснить эгоизм, который, без сомнения, исключает всякую подлинную заинтересованность в других? *Эгоист* интересуется только собой, хочет, чтобы все было только для него, испытывает наслаждение, только получая, но не отдавая. Он воспринимает внешний мир только с точки зрения того, что он может из него извлечь, его не интересуют потребности других, он не уважает их достоинство и целостность. Он ничего не замечает, кроме себя; он судит обо всех и обо всем с точки зрения полезности для себя; он в принципе не способен любить. Разве это не доказательство того, что заинтересованность в других и заинтересованность в себе неизбежно исключают друг друга? Это было бы так, если бы эгоизм был равнозначен любви к себе. Но это допущение в корне неверно; в интересующих нас вопросах оно привело ко многим ошибочным выводам. *Эгоизм и любовь к себе отнюдь не равнозначны; более того – они противоположны*. Эгоист любит себя скорее слишком мало, чем слишком много; в действительности он себя ненавидит. Этот

недостаток заинтересованности в себе самом и заботы о себе, который есть лишь одно из проявлений неплодотворности личности, опустошает и фрустрирует его. Он неизбежно несчастен и лихорадочно стремится урвать от жизни те блага, доступ к которым сам себе закрывает. Кажется, что он заботится о себе слишком много, но на самом деле он всего лишь делает неудачные попытки восполнить недостаток заботы о своем подлинном «Я». Фрейд считает, что эгоист склонен к нарциссизму; он как бы отобрал у других свою любовь и направил ее всю на свою собственную личность. Верно, что эгоист не способен любить других, но он не способен также любить и себя.

Разобраться в сущности эгоизма будет легче, если сравнить его с чрезмерным беспокойством за других, проявляющимся, скажем, у не в меру заботливой матери. На сознательном уровне она твердо уверена, что чрезвычайно заинтересована в своем ребенке, на самом же деле она испытывает к объекту своей озабоченности глубоко подавленную враждебность. Она озабочена сверх меры не потому, что слишком любит ребенка, а потому, что не любит его вовсе и вынуждена это компенсировать.

Эта теория природы эгоизма подтверждается опытом психоаналитической работы с невротическим «альтруизмом», представляющим собой симптом невроза, нередко наблюдающийся у людей, которые страдают не от этого симптома, а от других, связанных с ним, таких, как депрессия, усталость, неспособность, неудача в любви и т. д. Мало того что «альтруизм» не ощущается как симптом, часто он является компенсирующей чертой характера, которой такие люди гордятся. Такой «альтруист» «ничего не хочет для себя», он «живет только для других», он гордится тем, что не придает значения своей особе. И он бывает озадачен, обнаружив, что, несмотря на свой альтруизм, он несчастен и что он несостоятелен в отношениях с самыми близкими людьми. Анализ показывает, что его альтруизм является не чем-то отдельным от его симптомов, а одним из них, и часто, в сущности, самым важным; что его способность любить и радоваться чему бы то ни было парализована; что он преисполнен враждебности к жизни и что за фасадом альтруизма скрывается неуловимая, но от этого не менее сильная сконцентрированность вокруг самого себя. Такого человека можно вылечить лишь при условии, что и его альтруизм будет рассматриваться как симптом наряду с другими, и тогда можно помочь ему избавиться от неплодотворности, которая лежит в основе как его альтруизма, так и других его несчастий.

Природа альтруизма проявляется особенно ясно в его воздействии на других; чаще всего встречающаяся в нашей культуре форма воздействия – это воздействие «альтруистической» матери на детей. Она думает, что благодаря ее альтруизму дети как раз и узнают, что значит быть любимыми, и сами, в свою очередь, научатся любить. Но воздействие, которое оказывает ее альтруизм, отнюдь не отвечает ее ожиданиям. Ее дети не похожи на счастливых, убежденных, что их любят; они беспокойны, находятся в постоянном напряжении, боятся неодобрения матери и тревожатся, как бы не обмануть ее ожиданий. Обычно на детей действует скрытая враждебность матери к жизни, которую они скорее чувствуют, нежели осознают, и постепенно они сами проникаются духом этой враждебности. В конечном счете влияние «альтруистичной» матери не слишком отличается от влияния эгоистичной; в действительности оно часто даже хуже, потому что альтруизм матери не позволяет детям относиться к ней критически. Они вынуждены стараться не разочаровать ее; под маской добродетели их учат ненавидеть жизнь. Если нам удастся наблюдать влияние матери, которая по-настоящему любит себя, то мы увидим, что нет более верного способа дать детям почувствовать, что такое любовь, радость и счастье, чем любовь такой матери.

Нельзя лучше обобщить эти рассуждения о любви к себе, чем обратившись к словам Мейстера Экхарта: «Если ты любишь себя, ты любишь всякого другого так же, как себя. Пока ты любишь другого меньше, чем себя, тебе не удастся любить себя по-настоящему; но если ты любишь всех равно, и себя тоже, то ты будешь любить их как одного, и этот один есть и Бог, и человек. Итак, велик и праведен тот, кто, любя себя, любит также и всех других»^[27].

д) Любовь к Богу

Мы уже говорили выше, что наша потребность любить основывается на переживании отчужденности и вытекающей из него потребности преодолеть тревогу и отчужденность в соединении. Религиозная форма любви – то, что называется любовью к Богу, – в психологическом смысле ничем не отличается от других ее форм. Она также возникает из потребности преодолеть отчужденность и достичь соединения. В действительности любовь к Богу не менее многогранна и не менее разнообразна, чем любовь к человеку. В ней можно выделить примерно те же разновидности.

Во всех теистических религиях – как политеистических, так и монотеистических – Бог представляет собой наивысшую ценность, самое

желанное благо. Поэтому конкретное понимание Бога зависит от того, в чем состоит для человека самое желанное благо. Таким образом, чтобы понять концепцию Бога, нужно проанализировать структуру личности верующего.

Развитие человечества (насколько мы об этом знаем) можно охарактеризовать как выход человека из глубин матери-природы, освобождение от уз крови и земли. На заре своей истории человек, будучи уже отторгнут от природы, с которой он первоначально был в единстве, тем не менее все еще верен этим первичным узам. Он обретает уверенность, возвращаясь назад и держась за эти узы. Он все еще ощущает себя тождественным с миром животных и растений и старается соединиться с ним, оставаясь одним целым с миром природы. Многие первобытные религии носят отпечаток этой стадии развития. Животное превращается в тотем; во время самых торжественных событий и на войне надевают маски животных; животному поклоняются, как Богу. На более поздней стадии развития, когда умения человека достигают уровня ремесла и художественного творчества, когда человек перестает полностью зависеть от природы, от ее даров – найденного плода, убитого животного, – человек делает богом изделие собственных рук. Это стадия поклонения идолам, сделанным из глины, серебра или золота. Человек переносит свои силы и свое мастерство на созданные им вещи и тем самым в отчужденной форме поклоняется своему могуществу и своей собственности. На еще более поздней стадии он придает богам человеческий образ. Это могло произойти, по-видимому, только тогда, когда он более четко осознал себя и обнаружил, что человек – высшая и достойнейшая «вещь» в мире. На этой стадии – на стадии поклонения антропоморфным богам – развитие происходит в двух измерениях. Одно из них отвечает мужской или женской природе богов, другое – достигнутой человеком степени зрелости, которая определяет природу богов и природу любви к ним.

Остановимся сначала на развитии религий от «материнских» к «отцовским». После фундаментальных исследований, выполненных в середине XIX в. Бахофеном и Морганом – хотя их выводы, как правило, отвергались академическими кругами, – не остается сомнений в том, что патриархальному периоду в развитии религий, по крайней мере во многих культурах, предшествовал матриархальный. На матриархальной стадии мать – наивысшее существо. Она и богиня, и властительница как в семье, так и в обществе. Чтобы разобраться в сущности матриархальной религии, необходимо лишь помнить о том, что было сказано выше о сущности материнской любви. Материнская любовь безусловна, она всему

покровительствует, все укрывает собой; поскольку она безусловна, ею нельзя управлять, ее нельзя завоевать. Когда она есть, тот, кого любят, испытывает блаженство, а когда ее нет, он испытывает чувство опустошенности, глубокого отчаяния. Поскольку мать любит своих детей за то, что они ее дети, а не за то, что они «хорошие», послушные, исполняют ее желания и распоряжения, материнская любовь основана на равенстве. Все люди равны, потому что они все – дети одной матери, потому что они все – дети матери-Земли.

Следующая стадия эволюции человечества – период патриархата. Это единственная подробно изученная стадия, знания о которой получены непосредственно, а не путем умозаключений и реконструкции. В этот период мать лишается своего верховного положения, и Верховным Существом, как в религии, так и в обществе, становится отец. По самой своей природе отцовская любовь выдвигает требования, устанавливает принципы и законы, и любовь отца к сыну зависит от послушания последнего в выполнении этих требований. Отец больше всех любит того сына, который больше всего на него похож, самого послушного, самого подходящего для того, чтобы стать продолжателем его дела, наследником его собственности. (Вместе с развитием патриархального общества развивается и частная собственность.) Вследствие этого структура патриархального общества иерархична; равенство братьев уступает дорогу соперничеству и раздорам. Когда мы думаем об индийской, египетской или греческой культуре или об иудео-христианской или мусульманской религии, мы оказываемся в сердце патриархального мира с его мужскими божествами, над которыми властвует один верховный бог, или же все боги устранены, за исключением Единого Бога. Однако, поскольку потребность в материнской любви в человеческом сердце нельзя искоренить, неудивительно, что образ любящей матери никогда полностью не исключается из пантеона. В иудейскую религию материнские стороны Бога проникают прежде всего через различные мистические течения. В католицизме Мать символизируется Церковью и Святой Девой. И даже в протестантизме фигура матери не искореняется полностью, хотя и остается в тени. Лютер провозгласил основной принцип: никакими своими действиями человек не может заслужить любовь Бога. Любовь Бога есть Милость; религиозная установка требует верить в эту Милость, быть ничтожным и беспомощным; в противоположность католической доктрине, никакие добрые дела не тронут Бога и не заставят его любить нас. Нетрудно понять, что католическая доктрина о добрых делах является частью патриархальной картины; я могу заслужить любовь отца, слушаясь

его, выполняя его требования. Лютеранская доктрина, несмотря на свой ярко выраженный патриархальный характер, в то же время несет в себе скрытые матриархальные элементы. Материнскую любовь нельзя заслужить; она либо есть, либо ее нет; все, что я могу сделать, – это верить (как говорит псалмопевец: «Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у груди матери моей» (Пс. 21:10) и превратиться в беспомощное, слабое дитя. Но особенность веры Лютера состоит в том, что образ матери устраняется из явной картины и заменяется образом отца; вместо уверенности в материнской любви преобладающей чертой этой картины становится глубокое сомнение и безнадежная мечта о безусловной любви отца.

Мне необходимо было выяснить различия между матриархальными и патриархальными элементами религии, чтобы показать, что характер любви к Богу в значительной степени зависит от соотношения в религии матриархальной и патриархальной сторон. Патриархальная сторона побуждает меня любить Бога как отца; я считаю, что он справедлив и строг, что он наказывает и награждает и что со временем он изберет меня своим любимым сыном, как Бог избрал Авраама-Израиля, как Исаак избрал Иакова, как Бог избирает свой народ. Под влиянием матриархальной стороны в религии я люблю Бога как мать, согревающую все своим теплом. Я верю в ее любовь, в то, что, даже если я беден и слаб, даже если я грешен, она будет любить меня, она не предпочтет мне никого из своих детей; что бы со мной ни случилось, она выручит и спасет меня, она меня простит. Надо ли говорить, что моя любовь к Богу и любовь Бога ко мне неразделимы. Если Бог – отец, то я люблю его как отца, и он любит меня как сына. Если Бог – мать, этим определяется и ее, и моя любовь.

Однако различие между материнскими и отцовскими аспектами любви к Богу определяет природу этой любви лишь с одной стороны; другим определяющим фактором является степень зрелости, достигнутая индивидом как в его понимании Бога, так и в его любви к Богу.

С тех пор как человечество в ходе эволюции перешло от структуры общества, сосредоточенной вокруг матери, к структуре, где в центре – отец, развитие все более зрелой любви прослеживается главным образом в патриархальных религиях^[28]. В начале этого развития мы видим деспотичного, ревнивого Бога, который считает созданного им человека своей собственностью и имеет право делать с ним все, что ему будет угодно. На этой стадии развития религии Бог изгоняет человека из рая за то, что тот вкусил от древа познания и поэтому мог бы сам стать Богом; в этот период Бог решает уничтожить род человеческий, настав на него

потоп, потому что никто из людей не смог ему угодить, кроме его любимого сына Ноя; в этот период Бог требует от Авраама убить своего единственного, любимого сына Исаака, чтобы доказать этим актом беспредельного послушания свою любовь к Богу. Но одновременно начинается новый период; Бог заключает завет с Ноем, в котором он обещает больше никогда не уничтожать род человеческий, завет, которым он себя связывает. Он связан не только своим обещанием, он связан еще и своим собственным принципом справедливости и поэтому вынужден уступить просьбе Авраама пощадить Содом, если там найдется хотя бы десять праведников. Но развитие идет дальше простого превращения Бога из деспотичного вождя племени в любящего отца, в отца, который связан им же самым установленными принципами; развитие идет в направлении превращения Бога из отца в символ его принципов – справедливости, истины и любви. Бог – это и есть истина, Бог – это и есть справедливость. В этом развитии Бог перестает быть личностью, человеком, отцом; он становится символом единого первоначала, стоящего за всем многообразием явлений, воображаемым символом цветка, произрастающего из духовного семени внутри человека. У Бога не может быть имени. Имя всегда обозначает вещь или нечто конечное. Как может Бог иметь имя, если он не человек и не вещь?

Наиболее яркий пример такой эволюции дает библейский рассказ о явлении Бога Моисею. Когда Моисей говорит ему, что евреи не поверят, что Бог послал его, пока он не назовет им имени Бога (как могли бы идолопоклонники постичь безымянного Бога, когда сама сущность идола состоит в том, что у него есть имя?), Бог делает уступку. Он говорит Моисею, что его имя – «Я становлюсь тем, чем я становлюсь» (Исх. 3: 14) [29]. Это «становлюсь» означает, что Бог не является «существом», не является личностью. Наиболее адекватный перевод этой фразы был бы такой: скажи им, что «мое имя безымянно». Запрещения создавать какие бы то ни было изображения Бога, произносить его имя всуе, а со временем и вообще произносить его имя служат той же самой цели – освободить человека от мысли, что Бог есть отец, что он – личность. В последующем развитии теологии эта мысль находит продолжение в том принципе, что Богу нельзя даже приписать никаких положительных атрибутов. Сказать о Боге, что он мудр, силен, добр, снова означало бы, что он – личность; самое большее, что я могу, – это сказать, чем Бог не является, найти отрицательные атрибуты: установить, что он не имеет границ, не недобр, не несправедлив. Чем больше я знаю о том, какими качествами Бог не

обладает, тем больше я познаю Бога^[30].

Последовательное развитие идеи монотеизма может привести лишь к одному выводу: не упоминать имени Бога вообще, не говорить о Боге. Тогда Бог становится таким, каким он потенциально является в монотеистической теологии: безымянным, единственным, невыразимым, соотносящимся с единством, лежащим в основе универсума, основой всего сущего; Бог становится истиной, любовью, справедливостью. Бог – это я, поскольку я человек.

Совершенно очевидно, что именно этим развитием от антропоморфического принципа к монотеистическому определяются все различия в природе любви к Богу. Бога Авраама можно любить или бояться как отца, в котором берет верх то гнев, то снисходительность. Поскольку Бог – отец, я – ребенок. Я еще не полностью вырос из аутистического стремления к всеведению и всемогуществу. У меня еще недостает объективности, чтобы осознать ограниченность моих человеческих возможностей, мое невежество, мою беспомощность. Я все еще требую, как ребенок, чтобы у меня был отец, который выручает меня, который смотрит за мной, который наказывает меня; отец, который любит меня, когда я послушен, которому приятны мои восхваления, которого сердит мое непослушание. Совершенно очевидно, что большинство людей так и не поднялось в развитии своей личности выше этого детского уровня, и поэтому для большинства вера в Бога – это вера в отца, который поможет, то есть детская иллюзия. Несмотря на то что некоторые великие учителя человечества – и вслед за ними небольшая часть людей – смогли подняться выше этой концепции, она все еще остается преобладающей формой религии.

Поскольку это так, фрейдовская критика идеи Бога^[31] вполне справедлива. Однако его ошибка состояла в том, что он не принял во внимание другой аспект монотеистической религии, который как раз и образует ее подлинное ядро; логика этого аспекта неизбежно ведет к отрицанию такой концепции Бога. По-настоящему религиозный человек, если он следует основополагающей идее монотеизма, не просит ничего в своих молитвах, ничего не ждет от Бога; он любит Бога не так, как ребенок любит отца или мать; чувствуя свою ограниченность в той степени, в какой он знает, что он ничего не знает о Боге, он покорился. Бог становится для него символом, в котором человек на более ранней стадии своего развития выразил все то, к чему он стремится: свой духовный мир, любовь, истину и справедливость. Он верит в принципы, которые представляет «Бог»; его

мысли – истина, его жизнь – любовь и справедливость, он считает, что его жизнь имеет ценность лишь постольку, поскольку она предоставляет ему возможность найти как можно более полное применение своим человеческим силам; это единственная значимая реальность, единственный предмет «наивысшей заботы»; и со временем он перестает говорить о Боге и даже упоминать его имя. «Любить Бога», если бы он употребил это выражение, означало бы тогда стремиться к полному развитию способности любить, стремиться к осуществлению того, чем является для него «Бог».

С этой точки зрения логическим следствием теистического мышления должно быть отрицание всякой «теологии», всякого «знания о Боге». Однако остается еще различие между таким радикальным не-теологическим воззрением и не-теистической системой, которую можно найти, например, в раннем буддизме или в даосизме.

Во всех теистических системах – даже в мистических, обходящихся без теологии, – предполагается реальное существование духовной сферы, которая выходит за пределы человека, придает значение и ценность его духовным силам и его страстному стремлению к спасению и внутреннему возрождению. В не-теистических системах не существует духовной сферы, лежащей вне человека или выходящей за его пределы. Мир любви, разума и справедливости реально существует лишь потому и постольку, поскольку человек способен развивать в себе эти силы. С этой точки зрения жизнь не имеет иного смысла, чем тот, который человек сам ей придает; человек бесконечно одинок, если только он не помогает другому.

Говоря о любви к Богу, я хочу подчеркнуть, что я сам не придерживаюсь теистической концепции, что для меня понятие Бога представляет собой исторически обусловленное понятие, в котором человек в данный исторический период выразил переживание своих наивысших возможностей, свое страстное стремление к истине и к единению. Но вместе с тем я считаю, что следствия строгого монотеизма и не-теистическая наивысшая забота о духовной реальности хотя и различны, но не противоречат друг другу.

Здесь мы, однако, сталкиваемся с другим измерением любви к Богу, которое необходимо обсудить, чтобы понять эту проблему во всей ее сложности. Я имею в виду фундаментальное различие религиозных установок на Востоке (Китай и Индия) и на Западе; это различие можно выразить в логических терминах. Со времен Аристотеля западный мир следует логическим принципам его философии. Эта логика основана на законе тождества, который гласит, что А равно А, законе противоречия (А

не есть не-А) и законе исключенного третьего (возможно только А и не-А, третьего не дано). Следующее место у Аристотеля содержит очень ясное изложение его взглядов: «...невозможно, чтобы одно и то же в одно и то же время было и не было присуще одному и тому же в одном и том же отношении (и все другое, что мы могли бы еще уточнить, пусть будет уточнено во избежание словесных затруднений), – это, конечно, самое достоверное из начал...»^[32]

Эта аксиома Аристотелевой логики настолько глубоко проникла в наш образ мыслей, что она воспринимается как совершенно «естественная» и очевидная, в то время как утверждение о том, что Х равно и А, и не-А, представляется бессмысленным. (Разумеется, в данном утверждении имеется ввиду предмет Х в данный момент времени, а не Х теперь и Х некоторое время спустя, и не какая-то сторона Х в противоположность другой его стороне.)

Аристотелевой логике противоположна так называемая *парадоксальная логика*; в ней считается, что А и не-А не исключают друг друга как предикаты данного Х. Парадоксальная логика преобладала в китайском и индийском мышлении, в философии Гераклита, а потом, под именем диалектики, стала философией Гегеля и Маркса. Основным принцип парадоксальной логики ясно выражен у Лао-цзы: «Великая прямота кажется непрямой» (Книга XIV)^[33] и у Чжуан-цзы: «Я – это также не-Я, не-Я – это также Я»^[34]. Эти формулировки парадоксальной логики положительны: *это так и не так*. Другая формулировка отрицательная – *это ни так, ни не так*. Формулировки первого типа мы находим в даосизме, у Гераклита и позднее в гегелевской диалектике; формулировки второго типа широко распространены в индийской философии.

Хотя более подробная характеристика различий между логикой Аристотеля и парадоксальной логикой выходит за рамки этой книги, я все же приведу несколько примеров, чтобы сделать принцип различия более понятным. Наиболее раннее выражение парадоксальной логики в западной мысли мы видим в философии Гераклита. Он считает, что в основе всякого существования лежит борьба противоположностей. «Они не понимают, – говорит он, – как расходящееся само собой согласуется; возвращающаяся к себе гармония, как у лука и лиры». Или еще яснее: «В одну и ту же реку мы входим и не входим, существуем и не существуем»^[35]. Или: «Одно и то же в нас – живое и мертвое, бодрствующее и спящее, молодое и старое»^[36].

В философии Лао-цзы эта же мысль выражена в более поэтической форме. Характерным примером даосистского мышления может служить

следующее утверждение: «Тяжелое лежит в основании легкого; тишина господствует над движением». Или: «Никто не вызывает Тао, но оно присутствует везде; нам кажется, что оно ничего не делает, но на самом деле оно действует лучше всех». Или: «Я говорю, что очень легко приобрести знания и делать благие дела. Между тем никто на земле не знает этого и не делает благих дел». В даосизме, как и в индийском и сократовском мышлении, наивысшая ступень, которой может достигнуть мысль, состоит в том, чтобы узнать, что мы ничего не знаем. «Кто, зная много, держит себя как незнающий, тот нравственный муж; кто, не зная ничего, держит себя как знающий много, тот болен». Невозможность дать Богу имя – лишь следствие этой философии. Наивысшую действительность, наивысшее Единственное невозможно отобразить в словах или в мыслях. Как говорит об этом Лао-цзы: «Тао, которое должно быть действительным, не есть обыкновенное Тао. Имя, которое должно быть действительным, не есть обыкновенное имя»^[37]. Или иначе: «Предмет, на который мы смотрим и не видим, называется „бесцветным“, звук, который слушаем и не слышим, – „беззвучным“; предмет, который мы хватаем и не можем ухватить, – „мельчайшим“. Эти три предмета неисследимы; поэтому когда они смешаются между собой, то соединятся в „Одно“. Или еще одна формулировка той же мысли: „Знающий много – молчалив, а говорящий много не знает ничего“^[38].

Философия брахманизма имеет своим предметом взаимоотношения между многообразием (явлений) и единством (Брахманом). Но ни индийскую, ни китайскую парадоксальную философию не следует смешивать с *дуалистической* точкой зрения. Гармония (единство) состоит в противоречивости той позиции, исходя из которой она построена. «Брахманистское мышление изначально вращалось вокруг парадокса одновременно существующих антагонистических начал и в то же время вокруг тождества явных сил и форм мира явлений». Наивысшая сила во Вселенной, так же как и в человеке, выходит за пределы сферы понятий и сферы чувств. Поэтому она «не есть ни то, ни это». «Однако, – как отмечает Циммер, – между „реальным“ и „нереальным“ в таком строго недуалистическом понимании нет антагонизма»^[39]. В своих поисках единства, стоящего за многообразием, брахманистские мыслители пришли к выводу, что воспринимаемые нами противоположности отражают не природу вещей, а природу воспринимающего разума. Чтобы постичь истинную действительность, наша мысль должна выйти за пределы самой себя. Противоположность сама по себе есть категория человеческого

мышления, а не элемент действительности. В Ригведе этот принцип выражен так: «Я – это два начала: жизненная сила и жизненная материя, соединенные вместе».

Последнее следствие той идеи, что мысль может воспринимать только в противоречиях, получило еще более решительное выражение в философии веданты, которая утверждает, что мысль со всей ее способностью к тонкому различению есть «лишь более туманный горизонт незнания; в действительности это самый неуловимый из всех обманов майи»^[40].

Заслуживает внимания отношение парадоксальной логики к понятию Бога. Поскольку Бог представляет наивысшую действительность и поскольку человеческий разум воспринимает действительность в противоречиях, о Боге нельзя сказать ничего положительного. В веданте понятие о всеведущем и всемогущем Боге считается наивысшей формой незнания^[41]. Здесь прослеживается связь с безымянным Дао, с безымянным именем Бога, явившегося Моисею, с «абсолютным Ничто» Мейстера Экхарта. Человек может познать лишь отрицание и никогда не может познать наивысшую реальность. Как говорит Мейстер Экхарт: «Между тем человек не может знать, что есть Бог, даже несмотря на то что он знает, что не есть Бог... И разум, довольствуясь этим незнанием, взывает все же к наивысшему благу». Для Мейстера Экхарта «Божественное Единство есть отрицание отрицаний, отказ от отказов... Все сотворенное содержит отрицание: каждый отрицает, что он другой»^[42]. Именно отсюда следует далее, что Бог становится для Мейстера Экхарта «абсолютным Ничто», так же как для каббалы наивысшая реальность становится «Эн Соф», Бесконечным единством^[43].

Я говорил о разнице между логикой Аристотеля и парадоксальной логикой, чтобы подвести читателя к пониманию существенного различия между двумя концепциями любви к Богу. Учителя парадоксальной логики утверждают, что человек может воспринимать действительность лишь в противоречиях и никогда не может постичь *мыслью* наивысшую реальность и единство, Самое Сущность. Это приводит к тому, что человек не стремится как к конечной цели найти ответ *в мысли*. Мысль способна познать лишь то, что она не может найти окончательного ответа. Мир мысли остается в тисках парадокса. Единственный способ познать мир до конца не в мысли, а в действии, в переживании единства. Таким образом, парадоксальная логика приводит к выводу, что любовь к Богу есть не познание Бога в мысли и не мысль о любви к нему, но действие –

переживание единства с Богом.

В результате особое значение приобретает правильный образ жизни. Вся жизнь, всякий значительный или незначительный поступок посвящены познанию Бога, но познанию не в правильной мысли, а в правильном действии. Это ясно видно в восточных религиях. В брахманизме, так же как и в буддизме и даосизме, конечной целью религии является не правильная вера, а правильное действие. То же самое подчеркивается и в иудейской религии. В иудейской традиции едва ли можно найти случаи раскола на почве веры. (Единственным существенным исключением были разногласия между фарисеями и саддукеями; но их подоплекой был, в сущности, антагонизм двух противостоящих друг другу общественных классов.) Главную роль в иудейской религии (особенно с начала нашей эры) играл правильный образ жизни – Галаха (это слово означает, собственно, то же самое, что и Дао).

В Новое время тот же самый принцип нашел выражение в идеях Спинозы, Маркса и Фрейда. В философии Спинозы акцент смещается с правильной веры на правильный образ жизни. Маркс выразил тот же принцип в словах: «Философы лишь различным образом *объясняют* мир, но дело заключается в том, чтобы *изменить* его»^[44]. Парадоксальная логика Фрейда привела его к психоаналитическому лечению, то есть к постоянно углубляющемуся переживанию самого себя.

С точки зрения парадоксальной логики важна не столько мысль, сколько действие. Из такой установки вытекают также некоторые другие следствия. Прежде всего она ведет к *терпимости*, которую мы находим в религиозном развитии Индии и Китая. Если правильная мысль не есть наивысшая истина и не ведет к спасению, то незачем бороться против тех, кто в своем мышлении пришел к другим формулировкам. Такая терпимость прекрасно отражена в истории о том, как нескольких людей попросили в темноте описать слона. Один, ощупав хобот, сказал: «Это животное подобно трубе для воды», другой, ощупав ухо, сказал; «Это животное подобно опахалу»; третий, ощупав ногу, сравнил животное с колонной.

Во-вторых, парадоксальная точка зрения приводит к тому, что основное значение приобретает *преобразование* человека, а не развитие *догмы*, с одной стороны, и *науки* – с другой. С индийской и китайской мистических точек зрения религиозный долг человека не в том, чтобы правильно мыслить, а в том, чтобы правильно поступать и/или соединиться с Единой Сущностью в акте сосредоточенной медитации.

Для основного направления западной мысли характерно обратное. Поскольку там надеялись найти наивысшую истину в правильном

мышлении, именно мышлению придавалось основное значение – хотя и правильно поступать тоже считалось важным. В ходе развития религии такая установка привела к формированию догматов, к бесконечным спорам по поводу их формулировок и к нетерпимости к «неверующим» и еретикам. Это привело также к тому, что подчеркивалось значение «веры в Бога» как основной цели религиозной установки. Это, разумеется, не означает, что не существовало представления о том, что человек должен также правильно жить. И тем не менее человек, который верил в Бога – даже если он не жил по его заветам, – чувствовал себя выше того, кто жил по заветам Бога, но не «верил» в него.

Подчеркивание особой роли мышления влечет за собой еще одно следствие, исторически очень важное. Идея о том, что можно найти истину в мысли, породила не только догму, но и науку. В научном мышлении правильная мысль – единственное, что имеет значение как в смысле интеллектуальной честности, так и в смысле применения научной мысли на практике, то есть в технике.

Таким образом, парадоксальное мышление порождало терпимость и стремление к преобразованию себя. Установка Аристотеля привела к догме и к науке, к католической церкви и к открытию атомной энергии.

Я уже говорил, хотя и неявно, какие следствия вытекают из различия между этими двумя системами взглядов в отношении проблемы любви к Богу. Теперь будет достаточно краткого резюме.

В преобладающей на Западе религиозной системе любовь к Богу есть, по существу, то же самое, что вера в Бога, в его существование, в его справедливость, в его любовь. Любовь к Богу – это, по сути, умственное переживание. В восточных религиях и в мистицизме любовь к Богу есть напряженное переживание чувства единства, неразрывно связанное с выражением этой любви в каждый момент жизни. Эту цель отчетливее всего сформулировал Мейстер Экхарт: «Итак, если я претворяюсь в Боге и он делает меня единым с Собой, тогда, поскольку я живу в Боге, между нами нет различий... Некоторые воображают, что они смогут увидеть Бога, – смогут увидеть Бога, как будто он стоит вон там, а они – здесь, но так не может быть. Бог и я – мы одно. Познавая Бога, я приближаю его к себе. В любви к Богу я проникаю в него»^[45].

Теперь мы можем вернуться к параллелизму, существующему в одном важном отношении между любовью к родителям и любовью к Богу. Ребенок вначале привязан к матери как к «основе всего сущего». Он чувствует себя беспомощным и испытывает потребность в покровительственной материнской любви. Впоследствии он находит новое

средоточие своих привязанностей в отце, поскольку отец направляет его мысли и поступки и руководит ими; в этот период ребенком движет потребность заслужить похвалу отца и избежать его недовольства. В период полной зрелости он освобождается от личностей матери и отца как покровительствующей и направляющей силы; он уже установил в самом себе материнское и отцовское начало. Он стал сам для себя и отцом, и матерью; он сам теперь *и есть* и отец, и мать. То же самое развитие мы можем наблюдать – и предвидеть – в ходе истории человечества: от первоначальной любви к Богу как беспомощной привязанности к Богине-Матери, через послушную привязанность к Богу-Отцу – к состоянию зрелости, когда Бог перестал быть внешней силой, когда человек сам проникается принципами любви и справедливости, когда он становится единым целым с Богом, и наконец, к тому моменту, когда человек говорит о Боге только в поэтическом, символическом смысле.

Принимая все это во внимание, можно сделать вывод, что любовь к Богу неотделима от любви к родителям. Если человек не отошел от кровосмесительной привязанности к матери, клану, нации, если он сохраняет в себе детскую зависимость от карающего и вознаграждающего отца или какой-либо иной власти, он не способен развить в себе более зрелую любовь к Богу; его религия – это религия раннего периода развития, когда Бог воспринимался как покровительствующая мать или карающий и вознаграждающий отец.

В современных религиях мы находим все стадии этого развития, от самой примитивной до наивысшей. Слово «Бог» может означать как вождя племени, так и «абсолютное Ничто». Точно так же и каждый индивид, как показал Фрейд, сохраняет в себе, в своем подсознании все стадии развития, начиная от беспомощного младенца. Вопрос в том, насколько он вырос. Несомненно одно: природа его любви к Богу соответствует природе его любви к человеку; сверх того, истинное качество его любви к Богу и к человеку часто остается в скрытом виде в подсознании и рационализируется тем, что он более зрело *думает* о своей любви. Кроме того, любовь к человеку, входя непосредственно в отношение человека к его семье, определяется в конечном счете структурой общества, в котором он живет. Если общество построено на подчинении власти – будь то явная власть или анонимная власть рынка и общественного мнения, – его понятие о Боге будет инфантильным, далеким от зрелого понятия, зачатки которого можно найти в истории монотеистических религий.

III. Любовь и ее разложение в современном западном обществе

Поскольку любовь есть свойство зрелого, плодотворного характера, способность любить у индивида в данной культуре зависит от влияния, которое эта культура оказывает на характер среднего человека. Говоря о любви в современной западной культуре, мы задаемся вопросом: способствуют ли развитию любви социальная структура западной цивилизации и порождаемый ею дух? Достаточно поставить вопрос таким образом, чтобы ответить на него отрицательно. Ни один беспристрастный наблюдатель нашей западной жизни не усомнится в том, что любовь – братская, материнская, эротическая – стала у нас довольно редким явлением, а ее место заняли многочисленные формы псевдолюбви, которые в действительности являются формами ее разложения.

Капиталистическое общество основано, с одной стороны, на принципе политической свободы, с другой – на принципе рынка как регулятора всех экономических, а стало быть, и общественных отношений. Товарный рынок определяет условия обмена товаров; рынок труда регулирует приобретение и продажу рабочей силы. Как полезные вещи, так и полезные человеческие силы и умения превращаются в товар, который обменивается без принуждения и без обмана, согласно условиям рынка. Башмаки, как бы ни были они полезны и необходимы, не имеют экономической (обменной) ценности, если на них нет спроса на рынке; человеческие силы и умения лишены обменной ценности, если на них нет спроса при существующей рыночной конъюнктуре. Владелец капитала, чтобы выгодно его поместить, может купить рабочую силу и заставить ее работать. Владелец рабочей силы вынужден продавать ее капиталисту по существующим на рынке условиям, иначе ему придется голодать. Эта экономическая структура отражена и в иерархии ценностей. Капитал распоряжается рабочей силой, то есть накопленные вещи – мертвые вещи – ценятся выше, чем живой труд, живые человеческие силы.

Такова была изначально основная структура капитализма. Она остается характерной и для нынешней его стадии, однако некоторые факторы претерпели изменения, что придало современному капитализму некоторые специфические черты и глубоко повлияло на структуру характера современного человека. Мы становимся свидетелями все

возрастающей централизации и концентрации капитала в результате развития капитализма. Большие предприятия неуклонно разрастаются, подавляя более мелкие. Владение капиталом, вложенным в эти предприятия, все более и более отделяется от управления ими. Предприятиями «владеют» сотни тысяч акционеров, управляет же ими бюрократия, хорошо оплачиваемая, но не владеющая предприятиями. Эта бюрократия больше заинтересована в расширении предприятия и в распространении своей собственной власти, нежели в получении максимальных прибылей. Наряду с ростом концентрации капитала и повышением мощи управленческой бюрократии развивается рабочее движение. Благодаря объединению рабочей силы в профсоюзы отдельному рабочему не нужно самому заключать сделку, от себя и за себя выступая на рынке рабочей силы; он входит в большой союз рабочих, также руководимый мощной бюрократией, которая представляет его перед индустриальными колоссами. Хорошо это или плохо, но инициатива смещается от индивида к бюрократии – как в области капитала, так и в области рабочей силы. Все большее количество людей перестает быть независимыми от управляющих огромными экономическими империями.

Еще одна существенная черта современного капитализма – особый способ организации труда, порожденный концентрацией капитала. Высокая степень централизации, совершенная система разделения труда на предприятиях ведут к такой организации производства, при которой индивид теряет свою индивидуальность, становится быстро изнашивающейся и легко заменяемой деталью машины. Проблему человека в современном капиталистическом обществе можно сформулировать так:

Современный капитализм нуждается в людях, которые могут легко, без сбоев работать вместе, и притом в больших количествах; в людях, которые стремятся потреблять все больше и больше; в людях, чьи вкусы нивелированы, легко поддаются влияниям и легко изменяются. Он нуждается в людях, которые считают себя свободными и независимыми, не подчиненными какой бы то ни было власти или принципам совести, но при этом хотят получать распоряжения, делать то, чего от них ждут; в людях, хорошо прилаженных к социальной машине, которыми можно управлять без принуждения, которых можно вести без вождя, побуждать к действию без всякой цели, кроме одной: что-нибудь производить, быть в движении, функционировать, куда-то идти.

Каковы же последствия? Современный человек отчужден от себя, от своего ближнего, от природы^[46]. Он превращен в товар и воспринимает

свои жизненные силы как капитал, который должен приносить ему максимальную прибыль, возможную при существующих рыночных условиях. Человеческие отношения становятся, в сущности, отношениями автоматов, отчужденных друг от друга, каждый из которых обеспечивает свою безопасность тем, что не выделяется из толпы, не отличается от других мыслями, чувствами, действиями. Стараясь как можно меньше отделяться от окружающих, каждый остается бесконечно одиноким; он преисполнен чувства неуверенности, тревоги и вины, которое появляется всегда, когда человек не может преодолеть свое одиночество. Наша цивилизация предлагает много паллиативов, дающих человеку возможность не осознавать свое одиночество. Прежде всего это монотонный ход бюрократизированной, механической работы, способствующей тому, что люди так и не осознают своих самых основных человеческих стремлений: страстного желания преодоления и соединения. А поскольку одной этой однообразной, шаблонной работы недостаточно, человек преодолевает свое бессознательное отчаяние с помощью столь же однообразных, шаблонных увеселений – пассивным потреблением звуков и зрительных впечатлений, предлагаемых индустрией развлечений; кроме того, можно еще получать удовлетворение, покупая все новые и новые вещи и быстро заменяя их другими. В сущности, облик современного человека близок к тому, который изобразил Хаксли в своем «Прекрасном новом мире»: сытый, хорошо одетый, сексуально удовлетворенный, но лишенный своего «Я», лишенный контактов – кроме разве самых поверхностных – со своими ближними, руководствующийся лозунгами, которые Хаксли кратко формулирует так сжато и выразительно: «Если ты чувствовать будешь – общество этим погубишь», или: «Не откладывай на завтра удовольствие, которое можно получить сегодня», или (коронная формула): «В наше время все счастливы». В наши дни счастье человека состоит в «получении удовольствия». Удовольствие заключается в удовлетворении от потребления и «поглощения» товаров, зрительных впечатлений, пищи, напитков, сигарет, людей, лекций, книг, кинокартин – все это потребляется, поглощается. Мир – это один большой объект для удовлетворения нашего аппетита, гигантское яблоко, гигантская бутылка, гигантская материнская грудь; все мы – сосунки, вечно ждущие, вечно на что-то надеющиеся – и вечно разочаровывающиеся. Наша личность приспособлена к тому, чтобы обменивать и получать, торговать и потреблять; все – и духовное, и материальное – становится предметом обмена и потребления.

Такой социальный характер современного человека не может не

проявиться и тогда, когда речь идет о любви. Автоматы не могут любить: они могут обменивать свои личные «наборы качеств» и надеяться на справедливую сделку. Такой отчужденный характер любви – и особенно брака – едва ли не ярче всего проявляется в идее «команды». Во многих статьях о счастливом браке идеал представляется в виде хорошо сыгравшейся команды. Такое описание не слишком сильно отличается от образа бесперебойно функционирующего служащего; он должен быть «в разумных пределах независимым» и способным к сотрудничеству, терпимым – и в то же время честлюбивым и агрессивным. Итак: «специалисты по браку» говорят нам, что муж должен понимать свою жену и должен быть готов ей помочь. Он должен благосклонно отзываться о ее новом платье и о вкусно приготовленном блюде. Она со своей стороны должна проявлять понимание, когда он приходит домой усталый и недовольный, внимательно выслушивать его рассказы о неприятностях на службе, не сердиться, а понять его, если он забудет о ее дне рождения. Все, что охватывается взаимоотношениями этого типа, – это хорошо отлаженные отношения между двумя людьми, которые всю жизнь остаются чужими друг другу, которые не достигают «глубинной связи», но соблюдают взаимную вежливость и стараются сделать друг другу приятное.

В такой концепции любви и брака главный упор делается на то, чтобы спастись от чувства одиночества, которое иначе было бы невыносимым. В «любви» человек находит наконец убежище от одиночества. Он вступает в союз двоих против всего мира, и этот эгоизм *à deux*^[47] ошибочно принимается за любовь и близость.

Такой акцент на духе «команды», взаимной терпимости и так далее – явление относительно новое. В годы после Первой мировой войны преобладала концепция любви, согласно которой основой нормальных любовных отношений, и в особенности счастливого брака, служит взаимное половое удовлетворение. Считалось, что причины частых неудачных браков следует искать в том, что стороны в браке не смогли «приспособиться друг к другу» в половом отношении; причину неудачи видели в неосведомленности относительно «правильного» сексуального поведения, то есть в неверной сексуальной технике одного или обоих партнеров. Чтобы «исправить» этот недостаток и помочь несчастным парам, которые не умеют любить друг друга, появилось много книг с советами и рецептами правильного сексуального поведения; эти советы сопровождались явными или неявными обещаниями, что, если их выполнять, счастье и любовь придут непременно. В основе этого лежала

идея, что любовь – дитя полового наслаждения и что если двое научатся приносить друг другу половое удовлетворение, то они полюбят друг друга. Это соответствовало общей иллюзии эпохи, что правильными техническими приемами можно решить не только проблемы промышленного производства, но и все человеческие проблемы вообще. На самом же деле верно как раз обратное.

Любовь не возникает в результате адекватного сексуального поведения; напротив, счастье в половых отношениях и даже владение так называемой сексуальной техникой возникает в результате любви. Если этот тезис еще нуждается в каких-либо доказательствах, кроме повседневных наблюдений, то их можно найти в многочисленных данных психоанализа. Изучение наиболее часто встречающихся сексуальных проблем – фригидности женщин и как легких, так и тяжелых форм психической импотенции мужчин – показывает, что причина не в недостаточном владении техникой, а в торможении, делающем любовь невозможной. В основе этих трудностей, мешающих человеку отдаться полностью, действовать непринужденно, доверять половому партнеру в прямой и непосредственной физической близости, лежит страх перед противоположным полом или ненависть к нему. Если сексуально заторможенная личность сможет освободиться от страха или ненависти и, таким образом, приобрести способность любить, сексуальные проблемы для нее решены. Если нет – не поможет никакое владение сексуальной техникой.

Но в то время как данные психоаналитического лечения доказывают несостоятельность представления, что владение правильной сексуальной техникой обеспечивает счастье в половых отношениях и любовь, тем не менее упомянутое допущение о том, что любовь является спутником взаимного полового удовлетворения, сложилось под сильным влиянием теорий Фрейда. Для Фрейда любовь была явлением сексуальным в своей основе. Открытие, что половая (генитальная) любовь доставляет человеку самое сильное удовлетворение и дает ему, в сущности, образец всяческого счастья, должно заставить его и дальше искать счастья и удовлетворения в сфере половых отношений и поставить в центр своей жизни генитальную эротику^[48]. Переживание братской любви является, по Фрейду, следствием полового влечения, но половой инстинкт здесь преобразуется в «импульс с подавленной целью». «Любовь с подавленной целью (zielgehemmte Liebe) первоначально была, безусловно, вполне чувственной (vollsinnliche) любовью и остается таковой в человеческом подсознании»^[49]. Чувство

смятения, единства («океаническое чувство»), которое по своей сути является мистическим переживанием и лежит в основе самого сильного чувства, Фрейд считал патологическим явлением, регрессией к состоянию раннего «беспредельного нарциссизма»^[50]. Делая еще один шаг, Фрейд считает, что и сама любовь – иррациональное явление. Для него не существует различия между иррациональной любовью и любовью как проявлением зрелой личности. В статье о любви-перенесении^[51] он указывал, что перенесение, в сущности, не отличается от «нормального» явления любви. Влюбленность всегда граничит с ненормальностью, всегда сопровождается слепотой к действительности, вынужденностью, представляет собой перенесение детских объектов любви. Любовь как явление сознания, как наивысшее достижение зрелости не представлялась Фрейду достойной исследования, поскольку она для него не имела реального существования.

Однако было бы ошибкой переоценивать влияние идей Фрейда на концепцию любви как результата полового влечения – или, скорее, как явления, *идентичного* половому удовлетворению, отраженному в осознанном чувстве. Главная причинная связь здесь другая. Идеи Фрейда сложились отчасти под влиянием общего духа XIX столетия; а их популярность частично объясняется настроением, господствовавшим после Первой мировой войны. Одним из факторов, повлиявших как на общепринятую концепцию, так и на концепцию Фрейда, была реакция на строгие нравы викторианской эпохи. Второй фактор, оказавший влияние на теорию Фрейда, состоит в широком распространении представления о человеке, основанного на структуре капиталистического общества. Чтобы доказать, что капитализм отвечает естественным потребностям человека, нужно было показать, что человек по природе своей склонен к соперничеству и вражде. В то время как экономисты «доказали» это, говоря о ненасытном стремлении к экономической выгоде, а дарвинисты – о биологическом законе выживания наиболее приспособленных, Фрейд пришел к тому же выводу, допустив, что мужчиной движет беспредельное желание овладеть всеми женщинами и только давление общества препятствует ему поступать согласно его желаниям. Поэтому люди не могут не ревновать друг к другу, и эта взаимная ревность и соперничество будут продолжаться, даже если исчезнут все их социальные и экономические оправдания^[52].

В конечном счете образ мыслей Фрейда складывался в значительной степени под влиянием материализма того типа, который был распространен

в XIX столетии. Считалось, что для всех психических явлений можно найти источник в явлениях физиологических; в соответствии с этим любовь, ненависть, честолюбие, ревность Фрейд объяснял как многочисленные проявления различных форм полового инстинкта. Он не понимал, что действительную основу нужно искать во всей человеческой жизни в целом – в первую очередь в том, что свойственно всем людям вообще, а затем уже в образе жизни, обусловленном структурой конкретного общества. (Решающий шаг к выходу за рамки материализма такого типа сделал Маркс в своей концепции «исторического материализма», согласно которой ключом к пониманию человека служат не тело и не инстинкты, такие, как потребность в пище или в собственности, а вся жизнь человека, его «практика жизни».) Согласно концепции Фрейда, полное и беспрепятственное удовлетворение всех инстинктивных стремлений должно обеспечивать душевное здоровье и счастье. Но очевидные клинические факты свидетельствуют, что мужчины – и женщины, – посвятившие свою жизнь неограниченному половому удовлетворению, не становятся счастливыми и очень часто страдают от жестоких невротических конфликтов или симптомов. Полное удовлетворение всех инстинктивных потребностей не только не служит основой счастья, но даже не гарантирует душевного здоровья. Однако эта идея Фрейда смогла стать популярной только после Первой мировой войны, когда дух капитализма претерпел изменения: акцент на экономию был заменен акцентом на расходование, акцент на самоограничение как средство экономического успеха – акцентом на потребление как основу постоянного расширения рынка и главный источник удовлетворения для обеспокоенного, превращенного в автомат индивида. Удовлетворять любое желание безотлагательно стало преобладающей тенденцией как в сексуальной сфере, так и в сфере всякого материального потребления.

Интересно сравнить концепцию Фрейда, отвечающую духу капитализма в том, еще не деформированном виде, который он имел к началу этого столетия, с концепцией одного из наиболее выдающихся современных психоаналитиков, покойного Г.С. Салливэна. В психоаналитической системе Салливэна, в отличие от системы Фрейда, мы находим четкое разграничение сексуальности и любви.

Каково же значение любви и близости в концепции Салливэна? «Близость – это такая ситуация в жизни, в которой могут проявиться все составляющие личностной ценности. Появление личностной ценности требует взаимоотношений, которые я называю сотрудничеством; под этим я понимаю ясно осознаваемое приспособление своего поведения к

выраженным потребностям другого человека для достижения тождественного – то есть все более и более близкого к взаимному – удовлетворения и для обеспечения все большего сходства действий, направленных на достижение безопасности»^[53]. Если освободить утверждение Салливэна от его несколько запутанного языка, сущностью любви окажутся отношения сотрудничества, при которых люди чувствуют, что они играют «по правилам игры», чтобы сохранить свой престиж, чувство превосходства и собственного достоинства»^[54].

Подобно тому как концепция любви у Фрейда характеризует переживание главы патриархального семейства, отвечающее духу капитализма XIX столетия, определение Салливэна относится к переживанию отчужденной «рыночной» личности XX столетия. Это описание «эгоизма двух людей», преследующих свои общие цели и вместе противостоящих враждебному и отчужденному миру. В сущности, его определение близости применимо в принципе к чувствам членов любой команды, в которой каждый «приспосабливает свое поведение к выраженным потребностям другого человека ради достижения общих целей». (Примечательно, что Салливэн говорит здесь о *выраженных* потребностях, в то время как любовь всегда подразумевает отклик на *невыраженные* потребности в отношениях двух людей.)

Любовь как взаимное половое удовлетворение и любовь как «работа в составе команды» и убежище от одиночества – вот две «нормальные» формы разложения любви в современном западном обществе, патология любви, следующая социально обусловленным образцам. Существует также много менее стандартных форм патологии любви, приводящих к осознаваемому страданию; психиатры и любители, которых сейчас становится все больше, рассматривают их как неврозы. Некоторые из наиболее часто встречающихся таких форм мы кратко опишем сейчас на примерах.

Основное условие невротической любви состоит в том, что один или оба «любящих», будучи уже взрослыми, остаются привязанными к образу одного из родителей и переносят на любимого человека свои чувства, надежды и страхи, которые они питали к отцу или матери; став взрослыми, они так и не «смогли отойти от детского образца привязанности и стремятся к этому образцу в своих эмоциональных требованиях. В таких случаях человек остается в эмоциональном отношении двух-, пяти- или двенадцатилетним ребенком, хотя интеллектуально и социально он соответствует своему хронологическому возрасту. В наиболее серьезных

случаях эта незрелость чувств приводит к расстройствам в общественной деятельности, в менее серьезных конфликт ограничивается сферой личных отношений с близкими.

Если вспомнить то, что говорилось выше о личности, ориентированной на мать или на отца, нетрудно понять, что еще один пример такой невротической любви дает распространенный в наше время тип мужчины, оставшегося в развитии своих чувств на уровне младенческой привязанности к матери, – человека, которого, в сущности, так и не отняли от материнской груди. Такие мужчины продолжают чувствовать себя как бы детьми; они нуждаются в материнской защите, в любви, тепле, заботе и восхищении; они желают безусловной материнской любви – любви, которую они получали бы только за то, что они – дети своей матери, за то, что они беспомощны. Такие мужчины часто довольно привлекательны и обаятельны, когда стараются влюбить в себя женщину, и даже после того, как достигают успеха. Но их отношение к женщине (как, в сущности, и к другим людям) остается поверхностным и неответственным. Они хотят быть любимыми, а не любить. Такие мужчины обычно очень суетны и полны лучше или хуже скрытых «великих идей». Если они нашли женщину, которая им нужна, они чувствуют себя в безопасности, на седьмом небе и могут быть необыкновенно привлекательными и обаятельными – и именно поэтому часто кажутся не такими, каковы они на самом деле. Но через некоторое время, когда женщина перестает соответствовать их фантастическим ожиданиям, наступает разочарование и начинаются ссоры. Если женщина не восхищается им постоянно, если она претендует на собственную независимую жизнь, если она хочет, чтобы ее саму любили и защищали, а в самых тяжелых случаях – если она не желает смотреть сквозь пальцы на его любовные похождения с другими женщинами (или даже восхищаться ими), – мужчина чувствует себя глубоко оскорбленным и разочарованным и обычно рационализирует эти чувства, думая, что женщина «не любит его», что она «эгоистична» или «деспотична». Всякое ощущение недостатка такой любви, какую мать любит свое милое дитя, принимается за доказательство того, что его не любят. Такие мужчины обычно принимают свое аффектированное поведение, свое желание нравиться за настоящую любовь и поэтому считают, что к ним относятся глубоко несправедливо; они воображают, что сами любят очень сильно, и горько жалуются на неблагодарность своего партнера.

В отдельных редких случаях такой человек, ориентированный на мать, может развиваться без каких-либо серьезных расстройств. Если «любящая»

мать в действительности чересчур опекала его (может быть, была властной, но это не было для него губительно) и если ему удастся найти жену такого же материнского типа, если его одаренность в какой-нибудь области позволит ему использовать свое обаяние и вызывать восхищение (как это бывает иногда с преуспевающими политическими деятелями), его можно считать «хорошо приспособленным» в социальном смысле, хотя бы он так никогда и не достиг более высокого уровня зрелости. Но при менее благоприятных условиях – а это, конечно, бывает чаще – его ждет серьезное разочарование в любви, а может быть, и вообще в жизни среди людей; когда такая личность оказывается в одиночестве, возникают конфликты и часто – сильное чувство тревоги и депрессия.

При еще более серьезных формах патологии привязанность к матери еще глубже и более бессознательна. На этом уровне возникает желание вернуться, образно говоря, уже не к охраняющим от бед материнским рукам и не к ее кормящей груди, но в ее всеприемлющее – и всепоглощающее – чрево. Если природа психического здоровья состоит в том, чтобы вырасти и уйти из материнской утробы в мир, то природа серьезных умственных расстройств состоит в том, что человека влечет утроба матери, желание, чтобы она вобрала его обратно – чтобы его оградили от жизни. Такой тип привязанности обычно встречается, если матери относятся к своим детям безжалостно-поглощающе. Порой во имя любви, порой во имя долга они стремятся удержать ребенка, подростка, мужчину внутри себя; он должен дышать только через нее, должен быть способен любить разве что на поверхностном сексуальном уровне, унижая всех других женщин; он не должен уметь быть свободным и независимым, иначе он вечный калека или преступник.

Эта черта – безжалостность, поглощающая любовь – отрицательная сторона образа матери. Мать дает жизнь, и она может забрать жизнь. Она может оживить, а может и погубить; она способна на чудеса любви – и никто не может причинить такого вреда, как она. Эти две противоположные черты матери можно проследить во многих религиозных образах (таких, как богиня Кали) и в символике снов.

Другая форма невротической патологии – особая привязанность к отцу.

В этих случаях речь идет о мужчинах, у которых мать была холодна и равнодушна, в то время как отец (отчасти из-за холодности жены) сосредоточивал всю свою привязанность и внимание на сыне. Он «хороший отец», но в то же время властный. Если он доволен поведением сына, он хвалит его, делает ему подарки, добр к нему, если же сын ему не

угождает, он отдаляется от него или ругает. Сын, для которого любовь отца – единственная, которая ему достается, становится рабски привязанным к отцу. Его главная цель в жизни – угодить отцу, и когда ему это удастся, он чувствует себя счастливым, удовлетворенным и в безопасности. Но если он ошибается, терпит неудачу или ему не удастся угодить отцу, он чувствует себя отвергнутым, нелюбимым и униженным. В последующей жизни такой мужчина будет искать подобный образ отца, к которому он будет так же привязан. Вся его жизнь становится цепью взлетов и падений, зависящих от того, удалось ли ему завоевать похвалу отца. Такой мужчина нередко с успехом делает карьеру. Он добросовестен, энергичен, на него можно положиться – в том случае, если избранный им «отец» поймет, как держать его в руках. Но в отношениях с женщинами он остается равнодушным и отчужденным. Женщина не представляет для него жизненного интереса; он обычно относится к ней слегка пренебрежительно, как отец к маленькой дочке, часто не показывая этого внешне. Вначале он может произвести впечатление на женщину своими мужскими достоинствами; но когда женщина, на которой он женился, поймет, что ей предназначена роль второстепенная по сравнению с первичной привязанностью мужа – образом отца, постоянно присутствующим в его жизни, – она начнет все сильнее разочаровываться, если только не окажется, что и она осталась привязанной к своему отцу – и поэтому счастлива с мужем, который относится к ней, как к капризному ребенку.

Более сложен тип невротического расстройства в любви, основанный на другой семейной ситуации, когда родители не любят друг друга, но очень стараются не ссориться и не показывать открыто каких-либо признаков неудовлетворения. В то же время из-за того, что они далеки друг от друга, их отношение к детям теряет непосредственность. И маленькая девочка ощущает вокруг себя эту атмосферу «корректности», которая в то же время исключает близкие отношения с отцом или с матерью и поэтому озадачивает и пугает ее. Она никогда не знает, что чувствуют и думают ее родители; в этой атмосфере неизменно присутствует что-то неизвестное и таинственное. В результате девочка замыкается в своем собственном мире, фантазирует, отдаляется от родителей и в дальнейшем сохраняет такую установку в любви.

Кроме того, подобное отчуждение ведет за собой развитие сильного беспокойства и ощущение отсутствия опоры под ногами, и часто это приводит к мазохистским установкам, которые становятся единственным источником сильных ощущений. Такие женщины часто предпочитают, чтобы муж устраивал сцены и скандалы, а не вел себя нормально и

разумно, потому что при этом по крайней мере снимается тяжесть напряжения и страха; нередко они бессознательно провоцируют мужа на такое поведение, чтобы положить конец мучительной неопределенности нейтралитета.

На последующих страницах мы опишем другие часто встречающиеся формы иррациональной любви, не анализируя специфические факторы развития в детстве, лежащие в основе этих форм.

Одна из форм псевдолюбви, довольно распространенная и часто воспринимаемая (и еще чаще описываемая в кинокартинах и романах) как «великая любовь», – любовь *идолопоклонническая*. Если человек в своем развитии не достиг того уровня, когда он осознает себя, свою индивидуальность, коренящуюся в плодотворном развитии собственных сил, то он склонен «боготворить» любимого, делать из него кумира. Он отчуждается от своих собственных сил и направляет их на любимого человека, которому он поклоняется как *summi bonum*^[55], как носителю всяческой любви, всяческого света, всяческого блаженства. Тем самым он лишает себя ощущения своей силы, теряет себя в своем любимом, вместо того чтобы обрести себя. Поскольку обычно никто не может в течение долгого времени удовлетворять ожиданиям того, кто ему поклоняется, рано или поздно наступает разочарование – и чтобы утешиться, человек ищет себе нового идола, и так порой до бесконечности. Для такой идолопоклоннической любви особенно характерно бурное и стремительное начало любовного переживания. Идолопоклонническую любовь часто изображают как настоящую, сильную любовь; но «сила» и «глубина» такой любви свидетельствует лишь об эмоциональном голоде и отчаянии идолопоклонника. Излишне говорить, что нередко и двое находят друг друга во взаимном обожании – и тогда в крайних случаях их любовь представляет собой *folie a deux*^[56].

Еще одна форма псевдолюбви – «любовь», которую можно назвать «*сентиментальной*». Ее сущность состоит в том, что переживание любви происходит только в мечтах, а не в повседневных взаимоотношениях с реальным человеком. Наиболее широко распространенное проявление такой формы любви – это суррогатное любовное удовлетворение, которое испытывает потребитель экранных и журнальных любовных историй и любовных песенок. Потребляя подобную продукцию, он удовлетворяет все свои неисполненные желания любви, соединения и близости. Мужчина или женщина, которые в отношениях со своим супругом совершенно не способны преодолеть стену отчуждения, бывают доведены до слез,

переживая счастливую или несчастную историю любовной пары на экране. Для многих пар это участие в любовных историях, происходящих на экране, есть единственная возможность ощутить любовь – не друг к другу, но вместе, в качестве зрителей, наблюдателей чужой «любви». Пока любовь остается фантазией, они могут ее переживать; но как только она спускается до действительных взаимоотношений между реальными людьми, они «замерзают».

Другая разновидность сентиментальной любви – смещение любви во времени. Супружескую пару могут глубоко волновать воспоминания их прошлой любви – несмотря на то что, когда это прошлое было настоящим, любви не было – или мечты о любви в будущем. Как много пар после помолвки или после свадьбы мечтают о блаженстве любви, которое наступит в будущем, в то время как в настоящем, в котором они живут, они уже начинают надоедать друг другу! Эта тенденция соответствует общей установке, характерной для современного человека. Он живет в прошлом или в будущем, но не в настоящем. Он с восторгом вспоминает свое детство и свою мать – или строит счастливые планы на будущее. Заменяется ли переживание любви участием в изображаемых переживаниях других, смешается ли она из настоящего в прошлое или в будущее, эта идеализированная и отчужденная форма любви служит наркотиком, облегчающим страдания действительности, одиночество и отчужденность индивида.

Еще одна форма невротической любви – использование *проективных механизмов*, для того чтобы уйти от своих собственных проблем и вместо этого заняться недостатками и «слабостями» «любимого» человека. В этом отношении отдельные люди ведут себя так же, как группы, нации или религии. Они замечают даже малейшие недостатки другого человека и остаются в блаженном неведении относительно своих собственных, всегда стараясь обвинить или переделать другого. Если это делают оба – а чаще всего так и бывает, – то их взаимоотношения в любви превращаются в отношения взаимного проецирования. Если я властен, нерешителен или жаден, я обвиняю в этом моего «любимого», и в зависимости от моего характера мне хочется или исправить, или наказать его. Другой делает то же самое – и, таким образом, обоим удастся уйти от своих собственных проблем; поэтому они не могут предпринять каких-либо шагов для развития своей собственной личности.

Другая форма проецирования – проецирование своих собственных проблем на детей. Прежде всего это нередко проявляется в том, что человек желает чего-то для своих детей. В таких случаях это желание обусловлено в

первую очередь проецированием своих собственных жизненных проблем на жизнь ребенка. Когда человек чувствует, что не может найти смысла своей жизни, он старается вложить этот смысл в жизнь своих детей. Но здесь он обречен на неудачу для самого себя и для детей. Для себя – потому что проблему существования каждый должен решать сам, а не давать доверенность на их решение; для детей – потому что такому человеку недостает качеств, необходимых, чтобы сориентировать ребенка в его собственных поисках ответа. Дети служат для целей проецирования также и тогда, когда у несчастливых супругов встает вопрос о разводе. Запасным аргументом для родителей в такой ситуации служит то, что они не могут разойтись, чтобы не лишать детей счастья единого дома. Но в любом таком случае детальный анализ показал бы, что атмосфера напряженности и несчастья в такой «единой» семье причиняет больше вреда детям, чем открытый разрыв, который может по крайней мере показать им, что человек способен покончить с невыносимым положением, приняв смелое решение.

Нужно сказать еще об одном распространенном заблуждении. Это иллюзия, что любовь непременно исключает конфликты. Подобно тому как люди привыкли думать, что при любых обстоятельствах нужно избегать боли и печали, они думают, что любовь предполагает отсутствие всяких конфликтов. И они находят убедительные основания для такой идеи в том, что конфликты, происходящие вокруг них, являются, по-видимому, губительными столкновениями, не приносящими ничего хорошего ни одному из участников. Но причина этого заключается в том, что «конфликты» большинства людей – это в действительности лишь попытки избежать *настоящих* конфликтов. Это всего лишь разногласия по незначительным или неглубоким вопросам, которые не могут по самой своей природе выясниться или разрешиться. Настоящие конфликты между двумя людьми, не служащие средством спрятаться или «проецировать», переживаемые на глубоком уровне внутренней действительности, к которой они и принадлежат, не оказывают пагубного воздействия. Они ведут к ясности, порождают катарсис, обогащая людей знаниями и силой. Это еще раз подчеркивает сказанное выше.

Любовь возможна лишь в том случае, когда двое общаются друг с другом на самом глубоком уровне существования, и поэтому каждый из них переживает себя на этом уровне. Только здесь, в этом «глубинном» переживании, заложена человеческая действительность, жизненность, заложена основа любви. Любовь, переживаемая таким образом, – это постоянный вызов; это не место отдыха, а движение, развитие, совместная

работа; и даже то, царит ли гармония или конфликт, радость или печаль в отношениях двоих, имеет второстепенное значение по сравнению с тем главным, что двое переживают себя из самой глубины своего существования, что они едины друг с другом благодаря тому, что они едины с самими собой, а не убегают от себя. Возможно лишь одно доказательство присутствия любви – глубина взаимоотношений, жизненность и сила каждого из двоих; вот тот плод, по которому распознается любовь.

Точно так же как не могут автоматы любить друг друга, они не могут любить и Бога. *Разложение любви к Богу* достигло того же уровня, что и разложение любви к человеку. Этот факт явно противоречит утверждению, что мы в нашу эпоху будто бы являемся свидетелями религиозного возрождения. Ничто не может быть дальше от истины, чем это утверждение. То, чему мы являемся свидетелями (хотя есть и некоторые исключения), – это регрессия, возвращение к идолопоклонническому пониманию Бога, и вместе с тем превращение любви к Богу в отношение, соответствующее структуре отчужденной личности. Это возвращение к идолопоклонству легко пронаблюдать. Люди испытывают беспокойство, у них нет ни принципов, ни веры, они не видят перед собой никакой цели, кроме простого движения вперед; значит, они продолжают оставаться детьми, продолжают надеяться, что отец или мать придут к ним на помощь, если эта помощь им понадобится.

Верно, что в религиозных культурах типа средневековой обычный человек тоже относился к Богу как к отцу или матери, которые всегда придут на помощь. Но в то же время он воспринимал Бога и серьезно, в том смысле, что высшей целью его жизни было жить по заветам Бога и главной его заботой было «спасение», по сравнению с которым все другие виды деятельности были второстепенными. В наши дни от таких стремлений ничего не осталось. Повседневная жизнь далека от каких бы то ни было религиозных ценностей. Она посвящена борьбе за материальные удобства и за успех на рынке личностей. Принципы, на которых основываются наши мирские заботы, – это принципы безразличия и эгоизма (последний часто называют «индивидуализмом» или «личной инициативой»). Человека, принадлежащего к истинно религиозной культуре, можно сравнить с восьмилетним ребенком, который нуждается в помощи отца, но в то же время начинает применять в жизни его принципы и поучения. Современный человек похож скорее на трехлетнего ребенка, который плачет и зовет отца, когда тот ему нужен, а когда нет – вполне может играть один.

В этом смысле мы, младенчески зависящие от антропоморфного образа Бога и не старающиеся изменить свою Жизнь согласно его заветам, стоим ближе к первобытному идолопоклонству племени, нежели к религиозной культуре Средневековья. С другой стороны, в нашей религиозной ситуации обнаруживаются новые черты, характерные только для современного западного капиталистического общества. Можно сослаться на то, что говорилось в предыдущих частях этой книги. Современный человек превратил себя в товар: он воспринимает свою жизненную энергию как капитал, с которого должен получить максимальную прибыль с учетом своего положения и конъюнктуры на рынке личностей. Он отчужден от самого себя, от своего ближнего и от природы. Его основная цель – выгодно обменивать свое мастерство, знания и самого себя, свой «личностный набор», при условии, что партнеры также заинтересованы в справедливом и выгодном обмене. В жизни нет никаких целей, кроме движения, никаких принципов, кроме принципа справедливого обмена, никакого удовлетворения, кроме удовлетворения в потреблении.

Что в этих условиях может означать понятие Бога? Его первоначальное религиозное содержание изменяется в соответствии с требованиями отчужденной культуры, ориентированной на успех. И наблюдающееся в последнее время оживление религии состоит, в сущности, в том, что вера в Бога превращается в психологический механизм, помогающий наилучшим образом приспособиться к конкурентной борьбе.

Религия вместе с самовнушением и психотерапией помогает человеку в бизнесе. В 20-х годах люди еще не обращались к Богу с целью «совершенствования личности». В бестселлере 1938 г., книге «Как приобрести друзей и влияние на людей» («How to Win Friends and Influence People») Дэйла Карнеги (Dale Carnegie), проблема успеха трактовалась еще в чисто светском плане. Сейчас ту роль, которую тогда играла книга Карнеги, играет популярнейший бестселлер наших дней – «Сила позитивного мышления» («The Power of Positive Thinking») преподобного Н.В. Пила (N.V. Peale). В этой религиозной книге даже не ставится вопрос о том, согласуется ли с духом монотеистической религии наша забота об успехе прежде всего. Напротив, эта высшая цель никоим образом не ставится под сомнение, а вера в Бога и молитва рекомендуются в качестве средства, которое поможет повысить способность человека добиваться успеха. Подобно тому как современные психиатры рекомендуют служащему быть счастливым, чтобы лучше привлекать клиентов,

некоторые священники рекомендуют любить Бога, чтобы добиться большего успеха. «Сделай Бога своим товарищем» означает: «сделай Бога компаньоном в бизнесе», а не «соединись с ним в любви, справедливости и правде». Так же как братскую любовь заменила безликая деловая честность, Господь Бог превратился в далекого от нас Генерального Директора фирмы «Вселенная, Инкорпорэйтэд». Вы знаете, что он есть, что он – режиссер спектакля (хотя, наверное, можно было бы обойтись и без него), вы никогда не видите его, но признаете его руководство, когда «играете свою роль».

IV. Практика любви

Рассмотрев теоретический аспект искусства любить, мы стоим перед гораздо более сложной проблемой – проблемой *практики*. Возможно ли что-нибудь узнать о практической стороне какого-либо искусства иначе, чем «практикуясь» в нем?

Эта проблема усложняется еще и тем, что в наши дни большинство людей – а значит, и многие читатели этой книги – ожидают, что им дадут инструкцию, «как это сделать самому», – а в нашем случае это означает, что их научат любить. Боюсь, что всякий, кто возьмется читать эту последнюю главу с такой установкой, будет глубоко разочарован. Любовь – это личный опыт, который человек переживает только сам и для себя; в самом деле, едва ли найдется кто-либо, кто не переживал любовь хотя бы на зачаточном уровне, будучи ребенком, подростком или взрослым. Все, что мы можем сделать, говоря о практической стороне любви, – это сказать о предпосылках искусства любить, о подходах к этому искусству как таковому, а также о практическом применении этих предпосылок и подходов. Путь к этой цели можно пройти только самому, и разговор окончится прежде, чем будет сделан решающий шаг. Тем не менее я надеюсь, что обсуждение подходов к искусству любить будет полезно для овладения им – по крайней мере тем, кто освободился от ожидания «инструкций». Практика любого искусства подчиняется определенным общим требованиям – независимо от того, имеем ли мы дело с искусством плотника или врача или с искусством любить. Прежде всего практика любого искусства требует *дисциплины*. Я никогда не преуспею ни в каком деле, если я не буду дисциплинированным в своих занятиях; все, что я буду делать только «по настроению», может быть приятным или занятым, но я никогда не достигну в этом совершенства. Однако при овладении каким-то конкретным искусством дело не просто в дисциплине (например, в том, чтобы заниматься ежедневно определенное число часов), но в дисциплине всей жизни человека. Может показаться, что для современного человека нет ничего проще дисциплины. Разве не проводит он ежедневно по восемь часов, подчиняясь строгой дисциплине, в строгом режиме работы? Но на самом деле современный человек обладает крайне низкой самодисциплиной во всем, что не касается работы. Когда он не работает, ему хочется быть ленивым, небрежным, или, выражаясь изящнее, – «расслабиться». Это стремление к лени в значительной мере есть

отрицательная реакция на навязываемый ему монотонный ритм жизни. Именно из-за того, что человека заставляют восемь часов в день тратить свою энергию для чуждых ему целей и не теми способами, которые ему свойственны, а теми, которые навязывает ему ритм работы, он бунтует, и его бунт принимает форму детского потворства своим желаниям. Кроме того, бунтуя против авторитарности, он перестал доверять всякой дисциплине – как неразумной, навязанной сверху, так и разумной, установленной им самим. Но без такой дисциплины жизнь становится разорванной, беспорядочной, ей недостает сосредоточенности.

Едва ли нужно доказывать, что *сосредоточенность* совершенно необходима для овладения любым искусством. Это знает всякий, кто когда-либо пытался овладеть каким-либо искусством. Однако сосредоточенность встречается у нас еще реже, чем самодисциплина. Напротив, наша культура ведет к такому несосредоточенному и рассеянному образу жизни, который едва ли встречался когда-либо раньше. Вы одновременно делаете много дел – читаете, слушаете радио, разговариваете, курите, едите, пьете. Вы – потребитель с открытым ртом, жаждущий и готовый поглощать что угодно – картины, напитки, знания. Этот недостаток сосредоточенности ярко проявляется в том, что трудно оставаться наедине с самим собой. Большинство людей совершенно не в состоянии сидеть спокойно и при этом не разговаривать, не курить, не читать, не пить. Они нервничают, суетятся, им нужно что-то делать ртом или руками. (Курение – один из симптомов такого неумения сосредоточиться; оно занимает руки, рот, глаза и нос.)

Третье требование – *терпение*. Опять-таки всякий, кто пытался овладеть каким-либо искусством, знает, что, если вы хотите чего-нибудь достичь, нужно иметь терпение. В погоне за скорыми результатами вы никогда не овладеете искусством. Но современному человеку так же трудно быть терпеливым, как дисциплинированным и сосредоточенным. Вся наша система производства способствует развитию обратного: торопливости. Все наши машины делаются ради быстроты: автомобиль и самолет быстро доставляют нас к месту назначения – и чем быстрее, тем лучше. Машина, которая может произвести то же количество продукции вдвое быстрее, считается вдвое лучшей, чем старая, работающая медленнее. Разумеется, для этого существуют важные экономические причины. Но здесь, как и во многих других областях, человеческие ценности определяются теперь экономическими ценностями. Что хорошо для машины, то должно быть хорошо и для человека – такова логика. Современный человек считает, что он нечто теряет – время, – когда не делает что-то быстро; но он не знает,

что делать со временем, которое он сэкономил, – кроме как его убить.

Наконец, еще одним условием постижения любого искусства является *предельная заинтересованность* в совершенном овладении им. Если искусство не является делом наивысшей важности, ученик никогда не овладеет им. В лучшем случае он останется хорошим дилетантом, но никогда не станет мастером. Это условие так же необходимо для искусства любить, как и для любого другого искусства. Представляется, однако, вероятным, что в искусстве любить доля дилетантов больше, чем в других искусствах.

Следует отметить еще один момент, принимая во внимание общие условия овладения каким бы то ни было искусством. Искусство начинают изучать не непосредственно, а, так сказать, косвенно. Прежде чем браться за само искусство, следует изучить множество других вещей, которые часто кажутся не связанными с ним. Ученик плотника учится сначала строгать дерево; тот, кто учится играть на фортепиано, сначала играет гаммы; обучающийся японскому искусству стрельбы из лука начинает с дыхательных упражнений^[57].

Тот, кто хочет в совершенстве овладеть каким-либо искусством, должен посвятить этому всю жизнь или хотя бы связать с ним свою жизнь. Личность человека становится орудием действия в искусстве и должна всегда находиться в соответствии со специфическими функциями, которые она должна выполнять. Если говорить об искусстве любить, это значит, что всякий, кто надеется овладеть этим искусством в совершенстве, должен начать с того, чтобы *быть* дисциплинированным, сосредоточенным и терпеливым в любой момент своей жизни.

Как быть дисциплинированным? Нашим дедам было бы легче ответить на этот вопрос. Они советовали рано вставать, не позволять себе ненужной роскоши, упорно трудиться. Такая дисциплина обладала очевидными недостатками. Она была жесткой и авторитарной, была сконцентрирована вокруг таких добродетелей, как умеренность и бережливость, и во многом враждебна жизни. Реакцией на такую дисциплину была тенденция относиться с подозрением ко *всякой* дисциплине и, чтобы компенсировать рутинный образ жизни, навязываемый нам восемью часами работы, давать себе поблажки, лениться и быть недисциплинированными в остальной части жизни. Вставать в одно и то же время, посвящать регулярно определенное количество времени размышлению, чтению, слушанию музыки, прогулкам, не позволять себе развлечений, являющихся бегством от жизни – вроде детективных рассказов и фильмов, – или хотя бы ограничить себя в этом,

не есть и не пить слишком много – эти правила просты и очевидны. Важно, однако, отметить, что дисциплинированность должна быть не подчинением правилам, навязанным извне, а выражением собственной воли; что она ощущается как нечто приятное, и человек постепенно привыкает к такому поведению настолько, что со временем ему будет чего-то не хватать, если он перестанет так вести себя. Один из неудачных аспектов нашего западного понятия о дисциплине (как и о любой добродетели) состоит в том, что подчинение дисциплине представляется чем-то тягостным, и только если оно тягостно, может считаться «хорошим». На Востоке уже давно поняли, что то, что хорошо для человека – для его тела и души, – должно быть также и приятно, даже если вначале нужно будет преодолеть некоторое сопротивление.

Еще намного труднее в нашей культуре уметь сосредоточиться: все в ней, кажется, направлено против такой способности. Самый важный шаг в овладении умением сосредоточиться – это научиться быть наедине с самим собой и при этом не читать, не слушать радио, не курить, не пить. В самом деле, уметь сосредоточиться – значит уметь быть наедине с самим собой – и именно без этого не может быть умения любить. Если я привязан к другому человеку лишь потому, что сам не могу твердо стоять на ногах, он или она может меня спасти, но наши отношения не будут отношениями любви. Как ни странно, но умение быть одному является условием способности любить. Всякий, кто попытается побыть наедине с самим собой, увидит, как это трудно. Он начнет испытывать нетерпение, беспокойство и даже сильно тревожиться. Он будет склонен объяснять свое нежелание продолжать такие занятия тем, что в этом нет смысла, что это глупо, что это отнимает много времени и т. д. и т. п. Он заметит также, что ему в голову приходят разные мысли и овладевают им. Он обнаружит, что он думает о дальнейших планах на сегодняшний день, или о каких-то трудностях в работе, или о том, куда пойти вечером, или о многих других вещах, которыми он займет свой мозг, вместо того чтобы позволить ему освободиться. Было бы полезно проделывать ряд очень простых упражнений, например сидеть расслабившись (не слишком вяло, но и не напряженно), закрыть глаза, постараться представить себе белый экран и отогнать все назойливые мысли и образы; затем постараться следить за своим дыханием; не думать о нем, не управлять им, а просто следить за ним и, таким образом, почувствовать его; потом постараться ощутить свое «Я»; «Я» (я сам) – это ядро моих сил, создатель моего мира. Такие упражнения на сосредоточение нужно делать каждое утро, по меньшей мере двадцать минут (если можно, то и дольше), и каждый вечер перед

сном^[58].

Кроме таких упражнений, нужно научиться сосредоточиваться на всем, что вы делаете: слушаете ли вы музыку, читаете ли книги, разговариваете ли с кем-нибудь или на что-нибудь смотрите. То, что вы в этот момент делаете, и только это, должно быть для вас важно, вы должны отдаться этому целиком. Если вы сосредоточены – не так важно, что вы делаете; важные, равно как и неважные, вещи составляют новое измерение действительности, потому что занимают все ваше внимание. Чтобы научиться сосредоточиваться, нужно по возможности избегать пустых разговоров, то есть разговоров «ненастоящих». Если двое говорят о том, как растет дерево, которое они оба знают, или о вкусе хлеба, который они только что вместе ели, или об общей работе, такой разговор может быть значимым при условии, что они переживают то, о чем говорят, а не обсуждают предмет отвлеченно; с другой стороны, разговор может вращаться вокруг политики или религии и все же быть пустым; это бывает, когда говорят шаблонными фразами, в то время как то, о чем говорят, не волнует. Нужно еще добавить, что насколько важно избегать пустых разговоров, настолько же важно избегать плохого общества. Под «плохим обществом» я понимаю не только порочных людей – их общества следует избегать потому, что их влияние гнетуще и пагубно. Я имею в виду также общество «зомби»^[59], чья душа мертва, хотя тело живо; людей с пустыми мыслями и словами, людей, которые не разговаривают, а болтают, не думают, а высказывают расхожие мнения. Однако общения с такими людьми не всегда удастся избежать, и это даже не всегда необходимо. Если отвечать им не так, как они ждут – общими и пустыми фразами, – а прямо и искренне, нередко можно увидеть, как такие люди изменяют свое поведение; этому способствуют удивление и неожиданность.

В отношениях с другими уметь сосредоточиться – значит прежде всего уметь слушать. По большей части люди слушают других и даже дают советы, на самом деле не слушая. Они не принимают слова другого человека всерьез и точно так же не принимают всерьез свои ответы. Поэтому разговор их утомляет. Им кажется, что они сильнее устанут, если будут слушать сосредоточенно. Но верно как раз обратное. Всякая деятельность, если ею заниматься сосредоточенно, возбуждает человека (хотя потом приходит естественная и благотворная усталость), в то время как всякая несосредоточенная деятельность нагоняет на него сон – и в то же время не дает ему уснуть ночью.

Сосредоточиться – значит жить целиком и полностью в настоящем,

здесь и сейчас, и, делая что-нибудь, не думать о том, что будешь делать после. Излишне говорить, что люди, любящие друг друга, должны лучше, чем кто-либо, уметь сосредотачиваться. Они должны научиться быть близкими, не прибегая ни к одному из многих принятых в таких случаях способов. Учиться сосредотачиваться будет сначала трудно; будет казаться, что цель недостижима. Едва ли нужно говорить, что это требует терпения. Если вы не знаете, что всему свое время, и хотите опередить события, то вам действительно никогда не удастся стать сосредоточенными и никогда не удастся овладеть искусством любить. Чтобы понять, что такое терпение, достаточно понаблюдать за ребенком, который учится ходить. Он падает, падает снова и снова, и все же продолжает свои попытки, с каждым разом все лучше, до тех пор, пока однажды не пойдет не падая. Чего бы только не достиг взрослый, имея он такое же, как у ребенка, терпение и умение сосредоточиться, когда он занят тем, что для него важно!

Нельзя научиться сосредотачиваться, не научившись *чувствовать самого себя*. Что это значит? Может быть, нужно все время думать о себе, «анализировать» себя или что-нибудь в этом роде? Если нам нужно было бы объяснить, что значит чувствовать машину, это было бы не так трудно. Например, всякий, кто водит автомобиль, чувствует его. Он замечает малейший непривычный шум, вызванный небольшим повреждением мотора. Одновременно водитель чувствует изменение поверхности дороги, движение машин впереди и сзади него. И вместе с тем он *не думает* обо всем этом; его мозг находится в состоянии «бдительности в расслаблении», открытый всем значимым изменениям ситуации, на которой он сосредоточен, – ситуации безопасной езды в автомобиле.

Что касается чувствительности к другому человеческому существу, то наиболее яркий пример – чувствительность и отзывчивость матери к своему ребенку. Она замечает любые изменения на его теле, его потребности или беспокойство прежде, чем они проявятся. Она просыпается от плача своего ребенка, в то время как другие, более громкие звуки ее не разбудили бы. Все это и означает, что она чувствительна ко всем проявлениям жизни ребенка; она не встревожена и не обеспокоена, но находится в состоянии бдительного равновесия и восприимчива ко всякому значимому сигналу, исходящему от ее ребенка. Таким же образом можно быть чувствительным к самому себе. Например, вы ощущаете чувство усталости и подавленности – и вместо того чтобы предаваться ему и поддерживать его грустными мыслями, которые всегда наготове, вы спрашиваете себя: «Что случилось?», «Почему я подавлен?» То же – когда вы замечаете, что вы раздражены или рассержены, или склонны к

фантазиям и прочим занятиям, позволяющим уйти от действительности. Самое важное – в каждый из таких моментов осознавать происходящее, а не рационализировать в тысяче и одном возможном варианте; кроме того, важно прислушиваться к внутреннему голосу, который скажет сам – и часто достаточно быстро, – почему мы встревожены, подавлены, рассержены.

Средний человек чувствителен к своим физиологическим процессам; он замечает изменения в своем организме и даже небольшую боль; иметь такую чувствительность к своему организму относительно легко, потому что большинство людей имеют представление о том, как они должны себя чувствовать, если все хорошо. Такая же чувствительность к своим душевным процессам – дело гораздо более трудное, потому что многие никогда не встречались с человеком, у которого они протекают оптимальным образом. Они принимают за норму состояние психики своих родителей и родственников или психику социальной группы, в которой они живут, и пока они не отличаются от них, они чувствуют себя нормально и не заинтересованы в том, чтобы наблюдать. Есть, например, много людей, никогда не встречавших любящего человека или личность, обладающую цельностью, мужеством, сосредоточенностью. Совершенно очевидно, что для того, чтобы быть чувствительным к самому себе, нужно представлять себе, что такое вполне здоровая человеческая жизнедеятельность, – а откуда взять такой опыт человеку, не имевшему его ни в детстве, ни в последующей жизни? Разумеется, простого ответа на этот вопрос не существует; но этот вопрос указывает на больное место в нашей системе воспитания.

Мы обучаем знаниям, но упускаем самый важный для развития человека вид обучения: то обучение, которое может происходить только благодаря простому присутствию зрелой, любящей личности. В более ранние эпохи нашей культуры, в культурах Китая и Индии выше всего ценился человек, обладавший выдающимися душевными качествами. И учитель был не только и даже не прежде всего источником информации: его задачей было передавать определенные человеческие установки. В современном капиталистическом обществе – это справедливо и для русской коммунистической системы – люди, которыми восхищаются и которым подражают, являются кем угодно, только не носителями выдающихся душевных качеств. Общественного внимания удостоиваются главным образом те, кто обеспечивает среднему человеку суррогатное чувство удовлетворения. Кинозвезды, авторы популярных радиопередач, газетные фельетонисты и обозреватели, крупные государственные деятели и бизнесмены – вот образцы для подражания. Главное, что позволяет им

выполнять эту функцию, часто состоит в том, что они умеют изготавливать новости. И все же положение не представляется безнадежным. Если вспомнить, что такой человек, как Альберт Швейцер, стал знаменитым в Соединенных Штатах, если подумать о множестве возможностей знакомить нашу молодежь с историческими личностями и ныне живущими людьми, которые показали, чего человек может достичь как человек, а не как устроитель развлечений (в широком смысле этого слова), если вспомнить о великих произведениях литературы и искусства всех времен, становится ясно, что можно создать представление о том, какой должна быть деятельность человека, и, следовательно, научиться отличать нормальную деятельности от патологической. Если нам не удастся сохранить представление о том, какова должна быть зрелая жизнь, то мы окажемся перед реальной опасностью полного прекращения нашей культурной традиции. Эта традиция основана прежде всего на передаче из поколения в поколение не тех или иных знаний, а определенных человеческих качеств. Если последующие поколения больше не увидят этих качеств, то пятитысячелетняя культура погибнет, даже если знания будут по-прежнему передаваться и обогащаться.

До сих пор я говорил о том, что необходимо для овладения *любим* искусством. Теперь мы рассмотрим качества, важные именно для способности любить. В соответствии с тем, что я говорил о природе любви, главным условием ее достижения является преодоление в себе нарциссизма. При нарциссической ориентации человек переживает как реальное лишь то, что существует внутри него, в то время как явления внешнего мира лишены реальности сами по себе, а переживаются лишь постольку, поскольку могут быть полезны или опасны для этого человека. Нарциссизму противостоит объективность; это способность видеть людей и вещи такими, *какие они есть*, объективно, и уметь отделять эту *объективную* картину от той, которая складывается под влиянием собственных страхов и желаний. Во всех видах психозов в наивысшей степени проявляется неспособность быть объективным. Для душевнобольного единственная существующая реальность – та, которая внутри него, которая определяется его страхами и желаниями. Он представляет себе внешний мир как отражение своего внутреннего мира, как свое творение. Все мы делаем то же самое в сновидениях. Во сне мы творим события, разыгрываем драмы, которые отражают наши желания и страхи (но иногда также наши взгляды и догадки), и во сне мы уверены, что то, что нам снится, так же реально, как действительность, воспринимаемая нами наяву.

Душевнобольному или спящему никогда не удастся объективно представить внешний мир; но все мы в большей или меньшей степени душевнобольные или спящие; все мы имеем необъективное представление о мире – представление, искаженное нашей нарциссической установкой. Надо ли приводить примеры? Всякий может сам легко их найти, наблюдая за собой и за соседями, или при чтении газеты. Глубина патологии может быть различной в зависимости от степени нарциссического искажения действительности. Например, женщина звонит врачу и говорит, что хочет прийти к нему на прием сегодня днем. Доктор отвечает, что в этот день он занят, но может принять ее на следующий день. И слышит в ответ: «Но, доктор, я живу всего в пяти минутах ходьбы от вашей приемной». Она не может понять его объяснение, что такое короткое расстояние для нее не экономит время *ему*. Она переживает эту ситуацию нарциссически: поскольку *она* экономит время, *он* тоже экономит время; единственная существующая для нее реальность – это она сама.

Менее крайний случай – или, может быть, лишь менее очевидный – представляют собой расстройства, обычные в межличностных отношениях. Сколько родителей переживают поведение ребенка, исходя из того, послушен ли он, доставляет ли им удовольствие, могут ли они им гордиться и так далее, вместо того чтобы воспринимать или хотя бы интересоваться тем, чего хочется их ребенку и что он чувствует? Сколько мужей представляют себе своих жен деспотичными из-за того, что их привязанность к матери заставляет их видеть в каждой просьбе ограничение их свободы? Сколько жен считают своих мужей неумелыми и бестолковыми, потому что они не отвечают тому фантастическому образу блистательного рыцаря, который они создали себе, быть может, еще в детстве?

Общеизвестно, как необъективно судят о других народах. Изю дня в день другую нацию стараются представить как крайне порочную и жестокую, в то время как собственная нация есть воплощение всего доброго и благородного. Всякое действие врага судят по одной мерке, всякое свое действие – по другой. Даже хорошие поступки врага считаются признаком дьявольской хитрости, предпринимаемой, чтобы обмануть нас и весь мир, в то время как наши дурные поступки вызваны необходимостью и оправдываются благородными целями, которым они служат. В сущности, если исследовать отношения между государствами так же, как между индивидами, можно прийти к выводу, что объективность является исключением, а нарциссические искажения – в той или иной степени – правилом.

Способность судить объективно есть *разум*; эмоциональная установка, стоящая за разумом, есть установка *скромности*. Быть объективным, пользоваться своим разумом становится возможным, только если достичь установки скромности, если избавиться от детских мечтаний о всезнании и всемогуществе.

С точки зрения практики в искусстве любить это означает следующее: поскольку любовь зависит от относительного отсутствия нарциссизма, она требует развития скромности, объективности и разума. Всю свою жизнь нужно посвятить этой цели. Скромность и объективность так же неделимы, как любовь. Я не могу быть действительно объективным по отношению к своей семье, если я не умею быть объективным по отношению к постороннему – и наоборот. Если я хочу овладеть искусством любить, я должен стремиться к объективности в каждой ситуации и научиться распознавать ситуации, в которых я необъективен. Я должен стараться видеть различие между *моим* нарциссически искаженным представлением о человеке и его поведении и реальностью этого человека, которая существует независимо от моих интересов, потребностей и страхов. Обрести способность быть объективным и разум – значит пройти полпути к овладению искусством любить, но делать это нужно, имея в виду каждого, с кем вы общаетесь. Если кто-либо захочет приберечь свою объективность для любимого человека, думая, что в отношениях с остальным миром потратил бы ее зря, он скоро обнаружит, что потерпел неудачу и здесь, и там.

Способность любить зависит от вашей способности отойти от нарциссизма и от кровосмесительной привязанности к матери и к роду; она зависит от вашей способности расти, развивать плодотворную установку в отношении к миру и к самим себе. Этот процесс выхода на свет, рождения, пробуждения с необходимостью требует от личности еще одного условия: *веры*.

Что такое вера? Должна ли вера обязательно быть верой в Бога или в религиозные доктрины? Обязательно ли вера противостоит разуму и рациональному мышлению или отделена от них? Чтобы разобраться в проблеме веры, нужно с самого начала провести границу между *рациональной* и *иррациональной* верой. Под иррациональной верой я понимаю верование (в человека или в идею), основанное на подчинении иррациональному авторитету. Рациональная вера, напротив, есть убеждение, корни которого – в нашем собственном переживании мысли или чувства. Рациональная вера – это прежде всего не только верование во что-то, но особая убежденность и твердость, присущие нашим убеждениям.

Вера, в отличие от верования во что-то конкретное, – это особая черта характера, охватывающая личность в целом.

Корни рациональной веры – в плодотворной умственной и эмоциональной деятельности. Для рационального мышления, в котором вере, казалось бы, нет места, рациональная вера является важным компонентом. Как, например, ученый приходит к новому открытию? Начинает ли он с того, что проводит опыт за опытом, собирает факт за фактом, не имея представления о том, что он надеется выяснить? Действительно, важные открытия в какой бы то ни было области редко совершаются подобным образом. Но люди не приходят к важным выводам и тогда, когда просто следуют за своей фантазией. Процесс творческого мышления в любой области человеческой деятельности часто начинается с того, что можно было бы назвать «рациональным прозрением», которое само по себе есть результат того, что человек до этого много занимался, размышлял, наблюдал. Когда ученому удастся собрать достаточно данных или описать свое открытие в математических формулах, чтобы сделать первоначальное видение наиболее адекватным, можно сказать, что он пришел к предварительной гипотезе. Тщательный анализ этой гипотезы, позволяющий глубже понять ее смысл, и накопление данных, говорящих в ее пользу, ведут к более адекватной гипотезе и, возможно, к тому, что эта гипотеза станет впоследствии составной частью некоторой общей теории.

История науки изобилует примерами веры в разум и предвидения истины. Коперник, Кеплер, Галилей и Ньютон были полны непоколебимой веры в разум. За это был сожжен на костре Бруно, за это был отлучен Спиноза. На каждой ступени – от рационального прозрения до создания теории – необходима *вера*: вера в предвидение как в сознательно и обоснованно преследуемую цель, вера в гипотезу как в вероятное и правдоподобное предположение и вера в окончательную теорию, по крайней мере до тех пор, пока эта теория не будет признана всеми. Источник этой веры – наш собственный опыт, уверенность в могуществе наших мыслей, наблюдений и суждений. Если иррациональная вера – это когда что-то воспринимается как правильное лишь *потому*, что так считают авторитеты или большинство, то корни рациональной веры – в самостоятельной убежденности, основанной на собственных плодотворных наблюдениях и размышлениях, *вопреки* мнению большинства.

Мысль и суждение – не единственные области, где проявляется рациональная вера. В сфере человеческих отношений вера является неотъемлемым качеством всякой настоящей дружбы или любви. «Верить» в другого человека – значит быть уверенным в его надежности и в

неизменности главных его установок, в неизменности сути его личности и любви. Я не хочу этим сказать, что человек не должен изменять свои мнения, но его основные мотивы остаются неизменными; такие принципы, как, например, уважение к жизни и к человеческому достоинству, составляют часть его самого и не поддаются изменениям.

В таком же смысле мы верим и в себя. Мы осознаем существование нашего «Я», неизменной сути нашей личности, которая остается с нами в течение всей нашей жизни, несмотря на меняющиеся обстоятельства и некоторые перемены в мнениях и чувствах. Именно эта суть составляет реальность, стоящую за словом «Я», на которой основана наша уверенность в своей индивидуальности. Если у нас нет веры в неизменность нашего «Я», наше чувство индивидуальности находится под угрозой, и мы попадаем в зависимость от других людей, чье одобрение становится основой нашего чувства индивидуальности. Только тот, кто верит в себя, способен быть верным другим, потому что только такой человек может быть уверен в том, что в будущем он останется таким же, как и сейчас, и что поэтому он будет чувствовать и действовать так, как сейчас. Вера в себя – условие нашей возможности обещать, а поскольку, как сказал Ницше, человек определяется способностью обещать, вера есть одно из условий человеческого существования. Что касается любви, то тут важно верить в свою собственную любовь, в ее возможность вызывать любовь у других, в ее надежность.

Другая сторона веры в человека – наша вера в возможности других. Самая примитивная форма, в которой существует эта вера, – это то, как мать верит в своего новорожденного ребенка: верит, что он будет жить, расти, ходить и разговаривать. Однако развитие ребенка в этом смысле происходит настолько закономерно, что ожидание этого не требует, как кажется, никакой веры. Другое дело, если речь идет о тех задатках, которые могут не развиваться: способность любить, быть счастливым, размышлять, а также особые способности и таланты. Это семена, которые растут и проявляются только в благоприятных условиях, и если таких условий нет, они могут остаться в подавленном состоянии – как если бы их не было.

Самое важное из этих условий состоит в том, чтобы человек, который много значит для ребенка, верил в его возможности. Наличие такой веры составляет разницу между обучением и манипулированием. Обучать – значит помогать ребенку осознать свои возможности^[60]. Обучению противостоит манипулирование, основанное на отсутствии веры в то, что задатки ребенка разовьются, и на убеждении, что ребенок только тогда пойдет по верной дороге, когда взрослые вложат в него все желательное и

подавят все, что кажется им нежелательным. Зачем верить в робота, он же не живой.

Наивысшим проявлением веры в других является вера в *человечество*. В западном мире эта вера нашла выражение в иудеохристианской религии, а помимо религии ярко проявилась в гуманистических, политических и социальных идеях последних полутора столетий. Подобно вере в ребенка, в основе этой веры лежит представление о том, что потенциальные возможности человека позволяют ему при наличии определенных условий создать общественный порядок, руководимый принципами равенства, справедливости и любви. До сих пор человек не смог создать такой порядок, и поэтому, чтобы быть убежденным в том, что ему удастся его создать, нужна вера. Но, как всякая рациональная вера, она не есть просто благое пожелание; в основе этой веры лежат свидетельства прошлых достижений человека и внутренний опыт каждого индивида, его собственное ощущение своего разума и любви.

Корни иррациональной веры – в том, что человек подчиняется власти, которая ощущается как подавляюще сильная, всеведущая и всемогущая, и отказывается от своего собственного могущества и силы. Рациональная вера основана на противоположном переживании. Эта вера существует в нашем сознании, потому что возникает в результате наших собственных наблюдений и размышлений. Мы верим в возможности других, в наши возможности и в возможности человечества по той причине и лишь в той мере, в какой мы уже ощутили рост наших собственных возможностей, реальность нашего собственного роста, силу нашего разума и нашей любви. Основа *рациональной веры* – *плодотворность*. Жить с верой – значит жить плодотворно. Отсюда следует, что верование во власть и использование власти противоположны вере. Верить в существующую власть равнозначно неверию в развитие еще не реализованных возможностей. Это предсказание будущего, основанное исключительно на «очевидном» настоящем; но оно оказывается серьезным просчетом, глубоко иррациональным в ошибочной недооценке развития человека и его возможностей. Рациональной веры во власть не бывает. Власти можно подчиняться или – для тех, кто ею обладает, – подчиняться стремлению ее сохранить. Хотя приумножение власти кажется самой реальной из всех реальностей, история показывает, что это самое непрочное из всех достижений человека. Поскольку вера и власть исключают друг друга, все религии и политические системы, которые первоначально были основаны на рациональной вере, приходят в упадок и постепенно теряют свою силу, если опираются на власть или вступают с ней в союз.

Вера требует *мужества*, способности рисковать, готовности терпеть даже боль и разочарование. Кто убежден, что главное условие жизни составляют благополучие и безопасность, – тот не может верить; кто замыкается в системе защиты, в которой безопасность обеспечивается отдаленностью и собственностью, тот превращает себя в узника. Чтобы быть любимым и любить, нужно мужество, мужество придать некоторым ценностям исключительное значение, превышающее все остальное, – и ставить на эти ценности все.

Это мужество – совсем не то, о котором говорил знаменитый хвастун Муссолини, провозглашая лозунг «жить в опасностях». Его мужество – это мужество нигилизма. Его корни – в разрушительной установке по отношению к жизни, при которой человек готов отвергнуть жизнь, потому что не способен любить ее. Мужество отчаяния противостоит мужеству любви так же, как вера во власть противостоит вере в жизнь.

Можно ли найти применение вере и мужеству в какой-нибудь деятельности? Конечно, веру можно проявить в любой момент жизни. Вера нужна, чтобы вырастить ребенка; чтобы заснуть; вера нужна, чтобы начать любое дело. Но все мы привыкли к тому, что у нас есть такая вера. Тот, у кого этой веры нет, страдает от излишнего беспокойства о своем ребенке, или от бессонницы, или от того, что он не способен ни к какой плодотворной деятельности; он либо мнителен, боится вступать с кем бы то ни было в близкие отношения, либо находится в подавленном состоянии, либо не способен строить долговременные планы. Оставаться верным своему суждению о человеке, даже если общественное мнение или какие-то непредвиденные обстоятельства, казалось бы, опровергают его, твердо придерживаться своих убеждений, даже если они не общепризнаны, – все это требует веры и мужества. Воспринимать трудности, неудачи и печали в жизни как вызов, принимая и парируя который мы становимся сильнее, а не как несправедливое наказание, которого *мы* не заслуживаем, – все это тоже требует веры и мужества.

Проявление веры и мужества начинается с повседневных мелочей. Прежде всего нужно заметить, где и когда теряется вера, проанализировать свои объяснения этой потери, распознать трусливый поступок и то, как вы его объясняете, скрывая от себя его истинную природу. Понять, что, изменяя своей вере, вы всякий раз ослабляете свой дух, и что растущая слабость ведет к новому предательству и так далее – получается порочный круг. Потом вы поймете также, что, в то время как на сознательном уровне вы боитесь, что вас не любят, на самом деле вы боитесь любить, хотя обычно не осознаете этого. Любить – значит принять на себя обязательства,

не требуя гарантий, без остатка отдаться надежде, что ваша любовь породит любовь в любимом человеке. Любовь – это акт веры, и кто слабо верит, тот слабо любит. Можно ли сказать больше о практике веры? Может быть, кто-нибудь и сказал бы: если бы я был поэтом или проповедником, я мог бы попытаться. А так как я не поэт и не проповедник, я не стану даже пытаться сказать больше; но я уверен, что всякий, кто действительно в этом заинтересован, сможет научиться верить – так же как ребенок учится ходить.

Подробного рассмотрения требует еще одна установка, необходимая для овладения искусством любить, поскольку она является основной в практике любви, – а до сих пор мы упоминали о ней лишь вскользь. Я имею в виду *деятельность*^[61]. Выше я уже отмечал, что под «деятельностью» понимается не «делание чего-либо», а внутренняя активность, плодотворное применение своих сил. Любовь – это деятельность; любя, я постоянно проявляю к любимому человеку активный интерес, но не только к нему или к ней. Я не смогу «деятельно» относиться к любимому человеку, если я буду ленив, если я не буду постоянно чуток, бдителен, активен. Единственное состояние, для которого характерно бездействие, – это сон; в состоянии бодрствования не должно быть места для лени. Парадоксальность ситуации, в которой находятся в наше время многие люди, состоит в том, что они полуспят бодрствуя и полубодрствуют во сне или когда хотят спать. Полное бодрствование создает условия для того, чтобы вам не было скучно и вы не были скучны, – и в самом деле, не скучать и не надоедать составляет главное условие для того, чтобы любить. Проявлять активность мысли, чувства, в течение всего дня чутко все видеть и слышать, избегать внутренней лени – проявляется ли она в пассивности и накопительстве или в откровенной трате времени впустую – составляет необходимое условие овладения искусством любить. Было бы иллюзией верить, что можно так разделить свою жизнь, чтобы жить плодотворно в любви и непродуктивно в остальных сферах жизни. Плодотворность не допускает такого «разделения труда». Способность любить требует энергии, состояния бодрствования, высокой жизнеспособности, которые могут возникнуть только в результате плодотворной и активной ориентации личности во многих других сферах жизни. Если человек не является плодотворной личностью в других сферах, он не будет плодотворным и в любви.

Разговор об искусстве любить нельзя ограничить рамками сферы приобретения и развития личностью описанных в этой главе черт характера и установок. Сфера личного неразрывно связана со сферой общественного.

Если любить означает относиться ко всем с любовью, если любовь – это черта характера, то она должна обязательно присутствовать во взаимоотношениях человека не только со своей семьей и с друзьями, но и с теми, с кем вы общаетесь на работе, по деловым вопросам, в кругу людей вашей профессии. Между любовью к своим и любовью к чужим не существует «разделения труда». Напротив, наличие последнего – условие существования первого. Воспринять эту точку зрения со всей серьезностью означает, в сущности, коренным образом изменить привычные общественные отношения. О религиозном идеале любви к ближнему говорится много громких слов, но фактически наши взаимоотношения в лучшем случае определяются принципом *справедливости* (fairness). Относиться друг к другу справедливо – значит исключить хитрость и обман при обмене товарами и услугами и при обмене чувствами. Принцип: «Я даю тебе столько же, сколько ты даешь мне» – как в материальных благах, так и в любви – является преобладающим этическим принципом в капиталистическом обществе. Можно даже сказать, что развитие этики справедливости – заслуга этики капиталистического общества.

Такое положение вещей объясняется самой природой капиталистического общества. В докапиталистических обществах обмен товаров определялся или просто силой, или традицией, или личными узами любви и дружбы. При капитализме все определяется обменом на рынке. Идет ли речь о рынке товаров, либо о рынке рабочей силы, либо о рынке услуг, каждый обменивает то, что он хочет продать, на то, что он хочет приобрести, согласно условиям рынка, не применяя ни силы, ни хитрости.

Этику справедливости легко спутать с этикой золотого правила. Принцип: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (Мф. 7:12) – можно истолковать в смысле «Будь честен в обмене с другими». На самом же деле этот принцип первоначально был сформулирован как более общедоступный вариант ветхозаветного изречения «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». В действительности иудео-христианские нормы братской любви коренным образом отличаются от этики справедливости. Любить ближнего – значит чувствовать ответственность за него и ощущать себя единым с ним, в то время как этика справедливости означает не чувство ответственности и единства, а далекие, отчужденные отношения; она предполагает уважение прав ближнего, но не любовь к нему. Не случайно золотое правило стало в наше время самой распространенной религиозной максимой; это оттого, что при толковании в смысле этики справедливости оно всем понятно, и все охотно ему следуют. Но практика любви должна начинаться с

осознания различия между справедливостью и любовью.

Здесь, однако, возникает важный вопрос. Если все устройство нашего общества и нашей экономики основано на том, что каждый ищет выгоды для себя, если его руководящим принципом является эгоцентризм, смягченный лишь этическим принципом справедливости, то как может человек заниматься делами, жить и действовать в рамках существующего общественного строя и в то же время по-настоящему любить? Разве последнее не означает, что нужно отказаться от всех мирских интересов и разделить жизнь бедняков? Христианские монахи и такие люди, как Лев Толстой, Альберт Швейцер и Симона Вей, подняли этот вопрос и ответили на него решительным образом. Есть еще и другие^[62], разделяющие мнение о принципиальной несовместимости любви с обычной мирской жизнью в нашем обществе. Они приходят к выводу, что говорить о любви сегодня – значит лишь участвовать во всеобщем обмане; они заявляют, что в сегодняшнем мире любить может только мученик или сумасшедший, а значит, весь разговор о любви не более чем проповедь. Эта вполне приемлемая, заслуживающая уважения точка зрения с готовностью предоставляет рационалистическое объяснение цинизму. В самом деле, ее безоговорочно разделяет средний человек, который думает: «Я не против того, чтобы быть хорошим христианином, но если бы я относился к этому серьезно, то мне пришлось бы голодать». И «радикально настроенные», и средние люди представляют собой автоматы, неспособные любить, и разница между ними лишь в том, что последние этого не понимают, в то время как первые это знают и считают этот факт «исторической необходимостью».

Я убежден, что признание абсолютной несовместимости любви и «нормальной» жизни справедливо только в отвлеченном смысле. Принцип, на котором основано капиталистическое общество, и принцип любви несовместимы. Но современное общество, взятое конкретно, представляет собой многогранное явление. Продавец ненужного товара, например, не может экономически существовать без лжи; опытный же рабочий, химик или врач – может. Точно так же фермер, рабочий, учитель и многие бизнесмены могут попытаться любить, не переставая существовать экономически. Даже признав, что принцип капитализма несовместим с принципом любви, нужно согласиться с тем, что «капитализм» по сути представляет собой сложную и постоянно меняющуюся структуру, допускающую все же достаточно «неконформизма» и свободы личности.

Я не хочу этим сказать, однако, что существующий порядок должен продолжаться бесконечно и что нужно в то же время надеяться на

осуществление идеала любви к ближнему. Люди, способные любить при существующем социальном строе, встречаются неизменно в виде исключения; в современном западном обществе любви, как правило, отводится последнее место. Не столько из-за того, что возникновению любви мешают многочисленные другие дела, сколько из-за того, что дух общества, сосредоточенного вокруг производства и жаждущего только потребления, таков, что только «не-конформист» может противостоять этому духу. Тот, кто серьезно относится к любви как к решению проблемы человеческого существования, должен в этом случае прийти к выводу, что, для того чтобы любовь стала социальным, а не глубоко индивидуалистическим явлением, которое отодвигается обществом на задний план, необходимы важные и радикальные изменения в нашей социальной структуре. В рамках этой книги можно лишь указать на общее направление таких изменений^[63]. Во главе нашего общества стоит управленческая бюрократия, профессиональные политики; люди действуют под влиянием массового внушения, их цель и самоцель – больше произвести и больше потребить. Всякая деятельность подчинена экономическим целям, средства стали целями; человек стал автоматом – сытым и одетым, но лишенным всякого интереса к своим специфически человеческим качествам и функциям. Если человек способен любить, он должен занять свое верховное место. Не он должен служить экономической машине, а она ему. Он должен быть наделен способностью разделять скорее переживание и труд, нежели в лучшем случае прибыль. Общество должно быть устроено так, чтобы социальная, «любящая» сущность человека была неотделима от его жизни в обществе, составляла с ней одно целое. Если верно, что любовь, как я попытался показать, является единственно здравым и адекватным решением проблемы человеческого существования, то всякое общество, которое так или иначе ограничивает развитие любви, неизбежно рано или поздно погибнет, придя в противоречие с основными потребностями человеческой природы. Разговор о любви – не только проповедь. По той простой причине, что это разговор о наивысшей и реальной потребности, присущей каждому человеку. И то, что эта потребность скрыта, не значит, что она не существует. Анализ природы любви показывает, что любовь, как правило, отсутствует; социальные условия, явившиеся причиной этого, заслуживают осуждения. Вера в любовь, возможную как общесоциальное, а не исключительно индивидуальное явление, есть разумная вера, в основе которой – отражение самой сокровенной сущности человека.

notes

Примечания

В оригинале – fall into. См. сноску на с. 10. – Примеч. пер.

В оригинале – игра слов: «falling» in love – «влюбление», букв., «впадение в любовь», и being in love, or as we might better say... «standing» in love – пребывание, или, лучше было бы сказать... «стояние» в любви. – Примеч. пер.

«Лоси» – один из американских благотворительных «братских орденов». «Шрайнеры» – члены американской масонской организации «Мистическая святыня» (Mystic Shrine). – Примеч. пер.

В оригинале – «nine-to-fiver»; nine to five – с девяти до пяти. – Примеч. пер.

Ср. более детальное рассмотрение вопроса о садизме и мазохизме в книге «Escape from Freedom» («Бегство от свободы»).

В оригинале – activity, что означает не только «активность», но и «деятельность». – Примеч. пер.

См.: Спиноза Б. Этика. М.; Л., 1932. Ч. 4. С. 142.

См. сноску на с. 10. – Примеч. пер.

Ср. более подробное исследование этого типа характера в книге «Man for Himself» («Человек для себя»). N.Y., 1947. Ch. 111. P. 94—117.

Ср. определение радости у Спинозы.

«Nationalökonomie und Philosophie» («Национальная экономика и философия») (1844), опубликовано в Karl Marx' Die Frühschriften, Alfred Kröner. Verlag, Stuttgart, 1953. S. 300, 301 (воспроизведено с английского перевода Э. Фромма). – Примеч. пер.

Это место в переводе изменено. В оригинале речь идет об английском слове *respect*, происходящем от латинского *respicere* – смотреть, наблюдать. – Примеч. пер.

Бабель И. Избранное. Кемерово, 1966. С. 72.

Отсюда вытекает важное следствие относительно роли психологии в современной западной культуре. Хотя большой интерес к психологии, без сомнения, свидетельствует об интересе к знаниям о человеке, он в то же время выдает фундаментальный недостаток этой культуры: в отношениях между людьми в наши дни не хватает любви. Таким образом, психологическими знаниями подменяют полное познание в любви, вместо того чтобы использовать их как первый шаг к такому познанию.

Пер. с англ.

См., например, «Бегство от свободы» (см. сноску на с. 37).
Приложение: Человеческий характер и социальный процесс. – Примеч. пер.

Фрейд сам сделал первый шаг в этом направлении в своей более поздней концепции инстинктов жизни и смерти. Его концепция инстинкта жизни (эроса) как источника синтеза и объединения есть концепция совершенно иного плана, чем либидо. Но хотя ортодоксальные психоаналитики и приняли теорию инстинктов жизни и смерти, это не привело к фундаментальному пересмотру концепции либидо, в особенности в том, что касается клинической практики.

Ср. описание этого развития в «Межличностной психиатрии» Салливэна (Sullivan H. S. The Interpersonal Theory of Psychiatry. N.Y., 1953).

Weil S. Gravity and Grave. N.Y., 1952. P. 117.

Эту же мысль выразил Герман Коген в своей книге «Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums» («Религия разума по иудейским источникам»). Frankfurt am Main, 1929.

См.: Исх. 13:5: «И когда введет тебя Господь... в землю... о которой клялся Он отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед...». – Примеч. пер.

См. сноску на с. 10. – Примеч. пер.

вдвоем (фр.).

Пауль Тиллих в рецензии на мою книгу «Здоровое общество» (Pastoral Psychology. 1955, сент.) предложил заменить термин «любовь к себе» (selflove), как двусмысленный, на «естественное самоутверждение» (self-affirmation) или «парадоксальное самоприятие» (paradoxical self-acceptance). Признавая определенные преимущества этого предложения, я все же не могу с ним согласиться. В термине «любовь к себе» элемент противоречивости любви к себе виден яснее. Здесь выражено, что любовь – одна и та же установка по отношению ко всем объектам, включая меня самого. Не следует также забывать, что термин «любовь к себе» в том смысле, в котором он здесь употребляется, имеет свою историю. В Библии говорится о «любви к себе», когда предписывается возлюбить ближнего, как самого себя. В этом же смысле говорит о любви Мейстер Экхарт.

John Calvin's Institutions of the Christian Religion (Кальвин Жан. Наставление в христианской вере), translated by John Allen. Presbyterian Board of Christian Education. Philadelphia, 1928. Vol. 4. Ch. 7. P. 622.

Англ. affect означает и «аффект» и «воздействие». – Примеч. пер.

Пер. с англ.

Это справедливо прежде всего для монотеистических религий Запада. В индийских религиях фигура матери сохраняет довольно сильное влияние – примером может служить богиня Кали; в буддизме и даосизме понятие Бога – или Богини – не имело существенного значения, если не устранялось вообще.

В английском тексте автора: I am becoming that which i am becoming. По-видимому, это перевод с немецкого: Ich werde sein der Ich sein werde. Другой возможный перевод: «Я сущий, который есть» (ср. в русском синодальном переводе: «Я есмь Сущий»; в английском каноническом тексте: I am that I am). В древнееврейском оригинале употреблена редко встречающаяся форма будущего времени глагола «быть», которую разные комментаторы толкуют по-разному. – Примеч. пер.

Ср. концепцию отрицательных атрибутов у Маймонида в «Путеводителе Блуждающих».

См.: Фрейд З. Будущность одной иллюзии. М.; Л., 1930. – Примеч. пер.

Аристотель. Соч. Т. 1. С. 125.

Лао Си. Тао-те-кинг, или Писание о нравственности. Под ред. Л.Н. Толстого. М., 1913. С. 28.

Атеисты, материалисты и диалектики Древнего Китая. М., 1967. С. 141.

Материалисты Древней Греции. М., 1955. С. 45.

Там же. С. 49.

Лао Си. Тао-те-кинг, или Писание о нравственности. С. 5, 17, 41, 42.

Лао Си. Тао-те-кинг, или Писание о нравственности. С. 11, 33.

Zimmer H. R. Philosophies of India (Философские учения Индии). N.Y., 1951.

Zimmer H. R. Philosophies of India (Философские учения Индии). N.Y., 1951. P. 424.

Cp.: Zimmer H. R. Philosophies of India. P. 424.

Meister Eckhart. Translated by R. B. Blakney, Harper and Brothers. N.Y., 1941. P. 247. Ср. также отрицательную теологию Маймонида.

Каббала (др.-евр., букв. – предание) – мистическое течение в иудаизме. Каббала понимает Бога как абсолютно бескачественную и неопределимую беспредельность. Это ничто изливает свою сущность во внешние предметы, ограничивая для этого само себя. – Примеч. пер.

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 4.

Meister Eckhart. Op. cit. P. 181–182.

Ср. более подробное рассмотрение проблемы отчуждения и влияния современного общества на характер человека в книге: Fromm E. The Sane Society (Здоровое общество). N.Y., 1955.

См. сноску на с. 93.

Freud S. Unbchagen in der Kultur (Недовольство культурой) // Freud S. Gesammelte Werke. Bd. XIV. L., 1948. P. 461.

Freud S. Unbchagen in der Kultur (Недовольство культурой) // Freud S. Gesammelte Werke. Bd. XIV. L., 1948. P. 462.

Ibid. P. 430.

Freud S. Gesammelte Werke. E., 1940–1952. Bd. X. (Перенесение – явление, состоящее в том, что в ходе психоаналитического лечения пациент переносит на врача свою любовь. – Примеч. пер.)

Единственным учеником Фрейда, никогда не отделявшимся от своего учителя, но все же изменившим взгляды на любовь в последние годы своей жизни, был Шандор Ференци. Этот вопрос блестяще рассмотрен в книге: Izette de Furest. *Leavca of Love* (Дрожжи любви). N.Y., 1954.

Sullivan H.S. The Interpersonal Theory of Psychiatry (Межличностная теория психиатрии). N.Y., 1953. P. 246. Следует отметить, что, хотя Салливэн дает это определение в связи с желаниями и стремлениями, свойственными предпубертковому возрасту, он говорит о них как о целостных тенденциях, впервые проявляющихся в этом возрасте, «которые, когда они полностью разовьются, мы называем любовью», и говорит, что эта любовь в предпубертковом возрасте «служит началом чего-то очень похожего на полностью расцветшую любовь, как ее определяет психиатрия».

Sullivan H.S. The Interpersonal Theory of Psychiatry (Межличностная теория психиатрии). N.Y., 1953. Другое определение любви у Салливэна, по которому любовь начинается тогда, когда человек чувствует, что потребности другого для него так же важны, как его собственные, – не столь «рыночное», как предыдущее.

наивысшему благу (лат.).

страсть вдвоем (взаимное безумие) (фр.).

Читатель сможет представить себе, как сосредоточенность, дисциплинированность, терпение и заинтересованность необходимы для овладения тем или иным искусством, прочтя книгу Э. Херригеля «Дзен в искусстве стрельбы из лука» (Herrigel E. «Zen in der Kunst des Bogenschießens». Kontinz, 1948. Есть английский перевод: Herrigel E. Zen in the Art of Archery. N.Y., 1953).

Этому уделяется большое внимание, как в теоретическом, так и в практическом плане, в восточных культурах, особенно в Индии. В последнее время на Западе также появились течения, преследующие подобные цели. Значительна, на мой взгляд, школа Гиндлера (Gindler), которая ставит своей целью научиться ощущать свое тело. Для лучшего понимания его метода ср. также работу Шарлотты Сельвер (Charlotte Selver), ее лекции и курсы в «Новой школе» (New School) в Нью-Йорке.

Рассказывают, что жрецы вудуистского культа на Гаити могут превращать людей в «живых мертвецов», полностью лишенных собственной воли и собственных мыслей. Таких людей называют «зомби». – Примеч. пер.

Слово education (обучение) происходит от e-ducere – букв. «вести вперед» или выявлять то, что потенциально присутствует.

В английском тексте – activity, что означает не только «деятельность», но и «активность». – Примеч. пер.

Ср. работу Герберта Маркузе «Социальные предпосылки психоаналитического ревизионизма».

В своей книге «Здоровое общество» я попытался рассмотреть этот вопрос подробно.